

Жизнь  
замечательных  
людей

Серия биографий

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 8  
(451)

МОСКВА  
1968

Ю. Дацыгов

# ГОЛОВНИН

62/374

ВОЛГОДАКСКАЯ  
областная библиотека  
им. Н. В. Бабушкина

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

---



Archibald Murray

В навигации постоянно приходится иметь дело с двумя направлениями: направлением движения судна и направлением на какой-либо объект.

Из учебника

## От автора

В тот красный, торжественный день, когда автор засучил рукава, его сразил Жан-Поль Сартр.

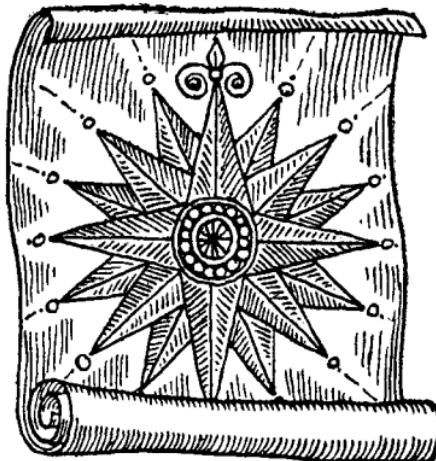
«Давний покойник, — уверяет Сартр, — мертв по природе, он мертв при крещении ничуть не меньше, чем после соборования, его жизнь принадлежит нам, мы входим в нее с одного конца, с другого, со средины, хотим — поднимаемся, хотим — опускаемся по ее течению: хронология взорвана, не восстановима... Тщетно пытаетесь вы стать на место усопшего, делая вид, что разделяете его страсти, заблуждения, предрасудки, восстанавливая сопротивление, впоследствии сломленное, мимолетную досаду или опасение, все равно вы будете оценивать покойного в свете результатов, которые нельзя было предвидеть...»

Вслед за Сартром удар автору нанесла собственная памятлиость. Ему вспомнилось, что кто-то из великих писателей ничего так не боялся, как мышей и романизированных биографий.

Помаявшись, автор решил: не буду романизировать, не буду «делать вид». И тотчас подумал, что и без этих индульгений все-таки взялся бы за дело.

Тут некий долг. Не потому, что еще безусым сдувал в архивах «пыль веков», а потому, что знал и любил старых морских офицеров. Отменные профессионалы, они отличались широтой интересов. Военные в больших чинах, они не смотрели чинушами. Знатоки машинного флота, они умели рассказывать о парусном так, будто вчера гостевали в кают-компании фрегата.

В тех людях чует автор что-то схожее с Головниным. И, оглядываясь на прожитое, он видит их вместе то близ хмурого Кронштадта, то в старинном флигеле где-нибудь на Галерной, то в Морской библиотеке, где были бронзовые часы. Бронзовый мореход в зойдвестке, мерно раскачиваясь, сжимал рукоятки штурвала.



## Глава первая

1

Купель готова. Ныне сельскому полу крестить барского первенца. Мужчина явился в мир. И пребудет, пока не зазвонит по нем колокол.

Мальчонку несут к купели. Мир для младенца беззвучен, невидим. Но ведь это уже его мир. И на дворе этого мира стоит весна. Весна тысяча семьсот семьдесят шестого года.

Из дальних далей доносится топот повстанцев. Довольно дебатов, спор решит оружие. Мятежники воюют не по правилам? Тем хуже для солдат английского короля Георга III. Тем хуже для бостонского гарнизона.

Пущечный гул вместе с гулом Атлантики катится из Нового Света: Америка отламывается от британской короны.

А здесь, поближе? А в Старом Свете?

Вешнее солнце 1776 года заглядывает в Фернейский замок. Вешний луч ловят морщинистые руки «короля республики наук и искусств». Ему восемьдесят два. Беззубый рот провален. Но он очень зубаст, зубаст, как щука, этот старый господин Вольтер.

Лужи на мостовых Парижа. Парижанин глазеет на мятежного чудака Жан-Жака. В кафе «De la Régence» моют окна. Светлые блики падают на шахматный столик. Наверное, вечерком придет Дени Дидро. О-о, мосье отлично играет в шахматы. Но самые лучшие партии разыграл Дидро в огромном круге Знания.

Весна не избавляет от государственных забот. Шестнадцатый Людовик собирается поохотиться в окрестностях Фонтенебло. Умный интриган маркиз Помбаль что-то нашептывает

своему повелителю, кретину Хозе I португальскому. Карл III испанский милостиво дозволяет первому министру графу Флорида-Бланко набивать королевскую мoshну. В Потсдаме, во дворце Сан-Суси размышляет о прусском могуществе серьезный и трезвый Фридрих II.

Европеец шлет в океаны корабли. Капитан в расшитом камзоле нынешней весною вновь склоняется над картами Великого или Тихого. Отчаянная головушка Джемс Кук! Менее отважные, но куда более оборотистые капитаны навастривают «гвинейцев». Кили этих кораблей чертят знаменитый треугольник: Европа — Африка — Америка — Европа. Ветры и течения работают на барышников. Барыш верный, почти стопроцентный. Грузовой поток не иссякает. Из Европы в Африку: металлические бруски, мануфактура, бренды. Из Африки в Америку: рабы, рабы, рабы. Из Америки в Европу: табак, хлопок, сахар, ром. Вперед, «гвинейцы», вперед, к Золотому берегу!

Золотой берег не только в Африке. И пахнет он не только пронзительным, как горе, потом черных невольников. Он пахнет и пряностями Индонезии. Он алеет бенгальским маком, дающим молочно-белый сок. Белый сок густеет, меняясь в цвете: желто-красный, медно-красный... Ныне, в 1776 году, опять и опять будут действовать рычаги великой контрабанды, той, что доставляет в Китай опиум. «Шуми, шуми, послушное ветрило...»

Ветрила шумели в океанах, а над огромной северной державой мало-помалу поднимался зеленый шум. Медленно сбросив зимний тулуп, держава ворочалась и покряхтывала. Сходили снега, талые воды лежали на пожарищах недавней пугачевской войны. Голубело небо, а под ним, на околицах бунтовавших деревень, все еще означались виселицы.

Начинался потемкинский режим. Подполковник Преображенского полка, еще не граф и не князь, уже заграбастал власть, о которой не смел мечтать ни один европейский министр.

Только что попали в руки императрицы черноморские порты; она будет «пускать кораблики» на юге, как Петр пускал на северо-западе. Только что приказала долго жить буйная Запорожская Сечь. Только что началось преобразование провинциального управления.

Изящные конспекты «Духа законов» Монтескье заброшены Екатериной в угол. Вельможная псарня получает жирные куски в Белоруссии. Чиновничий гнус сосет казну сотнями хоботков, а полные чувственные губы государыни улыбаются:

«Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать...» В прошениях на имя императрицы слово «раб» велено заменить словом «верноподданный». От этого, наверное, прошения перестали быть прошениями, рабы — рабами.

Четвертав «изверга» на Болотной площади, «мать отечества» продолжает царствовать. И от всего дворянского сердца повторяются чьи-то мольбы о том, что ей подобает титул больший: матери народов. («Позднее, — отмечает один проницательный историк, — подобные фразы стали стереотипными, заменявшими чувство».)

«Дети», то бишь российские дворяне, не меньше «матери» напугались Емельки-самозванца. Наконец, слава богу, его останки разнесли во все четыре стороны и сожгли. И вот во всех четырех сторонах, где только ни у gnездилось русское барство, нынче, весною 1776 года, во второй уж раз покойно, весело, отрадно празднуют благовещенье пресвятой богоматери.

Праздновали, конечно, и в селе Гулынки. Гулынской помещице в отличие от девы Марии архангел Гавриил не явился, но и брюхатая Александра Ивановна радовалась скорым родам. Радовалась и боялась: ведь первенца рожать.

А тут еще и хлопот невпроворот. Благовещенье празднуя, не забывай про весенний сев. Да никто и не забывает. Ни господа, ни крепостные. На благовещенье не только во храме молитву творят, но и в закромах: «Мати божия, Гавриил-архангел, благовестите, благоволите, нас урожаем благословите: овсом да рожью, ячменем, пшеницей и всякого жита стоприцей».

Отошел великий праздник. Пришел повсеместно великий мужицкий труд. Какой-то он еще будет, урожай 1776 года? А в помещичьем дому уже «урожай»: разрешилась от бремени гулынская барыня, подарила своему Михайле Васильевичу сына.

Купель готова. Ныне сельскиму попу крестить младенца. Нарекли его Василием, в память деда. Мужчина явился в мир. И пребудет, пока не зазвонит по нем колокол.

Водица в купели теплая, домашняя, пресная. Но Василия ждет иная купель — первозданная, огромная, соленая. Там не поп крестит, а штурмовой девятый вал. Но об этом никто еще не знает.

Младенцу мужеского пола достаточно одного восприемника. Кто им был, я не доискивался. Одно непреложно: восприемницей Васе Головину была рязанская сторона.

Не весною, заматерелой осенью случилось мне быть в Гулынках. Из Рязани туда автобусом часа полтора.

День был тусклый, лепил мокрый снег. Одет я был глупо, то есть по-городскому, тотчас промок и продрог. Сельмаг, однако, утешил меня лучшим лекарством от простуды. Тетя Маша приняла на постой и снабдила резиновыми сапогами. Отложив борьбу с простудой до вечера, я отправился в село.

Тетя Маша указала, кого навестить сразу же: Анну Сергеевну Воробьеву, она-де в Гулынках родилась, она в Гулынках и учительствует.

На окрестных землях теперь совхоз. Называется он душисто: «Рязанские сады». Анна Сергеевна предложила чаю. И яблок. Из этих, значит, «Рязанских садов». Потом мы вышли.

Анна Сергеевна учит ребят истории. История начинается там, где ты впервые видишь белый свет. У каждого села, у каждой деревни, да еще на Рязанщине, есть свое прошлое. Прошлое Гулынок описано. Но к источникам письменным и печатным я обращаюсь чуть позже. А сейчас мы бредем с Анной Сергеевной, и я чувствую некоторую неловкость за то, что заставляю гулять в такую непогоду.

Впрочем, прогулка не отняла много времени. Дело в том, что мой любезный поводырь каждый раз начинал свои объяснения словами: «Вот здесь было...», «Вот здесь был...». И я разглядывал пригорки, рытвины, кустарник, кучки битого кирпича. Ни барского дома, ни церкви, ни фамильного склепа Головниных, ни парка, ни цветников. И даже пруды лишь угадывались.

«Все в прошлом»! Я понимаю: прокатился вал времени. Я понимаю: метеоусловия не способствовали эстетическим удовольствиям. И все же грустно... грустно ничего не озирать.

Только у речушки Истьи, казавшейся черной, захотелось остаться подольше. Там, за проворной речкой, открывались побелевшие, но еще не сплошняком, поля и перелески. Тянуло оттуда мокрым снегом, влажно-холдеющей землей, прелыми листьями.

От меланхолии избавила меня Анна Сергеевна. Она заговорила о том, о ком рассказывает эта книжка. Василий-то Михайлович Головнин для них, гулынцев, не просто знаменитость, а земляк. И вот, понимаете ли, было бы очень хорошо создать при школе (построенной, кстати, сыном мореплавателя), ну, небольшой такой музей, что ли. Да вот незадача: на

просьбу о фотокопиях морской архив не отозвался. С литературой не густо. Описания Гулынок — библиографическая редкость... Короче, мы стали толковать, как выйти из положения, стали судить и рядить, Анна Сергеевна увлеклась, я увлекся, сделалось как-то веселее.

День быстро и плотно засинел. Снег повалил не хлопьями, а сухой мелкой крупкой. Должно быть, ложился по-настоящему, надолго. Большое село — протянулись Гулынки вдоль шоссе, подались от него вправо и влево — зажигало огни.

Зажглись огни и в каменных домах, прочной старой кладки, длинных, похожих на монастырские гостиницы: гулынские мужики держали встарь постоянные дворы — село-то расположилось на бойком тракте. Хлеб по нему в Москву доставляли, скот гнали. В Гулынках обозники и гуртовщики отдыхали<sup>1</sup>.

Гулынцы тоже извозом занимались. Народ был походный. Но могучим здоровьем не одаренный. В журнале «Русская старина» отмечалось, что здешних поселян губит «вредная местная вода». Может, вода, а может, и водочка. На гулынских постоянных дворах гуляли вовсю. (Не потому ли и Гулынки?) Так гуляли, что бабы находили своих кормильцев в канавах. Редкая зима обходилась без замерзших насмерть.

Село упоминается в рязанских писцовых книгах еще в начале XVII века. Когда Василий Головнин родился, Гулынкам было никак не меньше полутораста лет. Долгое время принадлежали они Вердеревским. Вердеревские происходили, как пишет Головнин, «от татарского князя Сала Хамира, крестившегося при Олеге и женившегося на его родственнице. Князь сей, получив обширные владения в Скопине и поселившись на реке Верде, стал называться Вердеревским».

С Вердеревской Александрой Ивановной повенчался коллежский асессор Михайло Васильевич Головнин. Он тоже мог похвальиться древностью фамилии, значившейся в шестой части родословной книги. «Древо» Головниных и описание герба хранится в одном из ленинградских архивов.

Василий Головнин был первым у отца с матерью, но не последним. Впрочем, трое его младших братьев не оставили заметных следов на жизненных дорогах. Правда, в Гулынках все они четверо отнюдь не помышляли о карьере. Их «поприщем» был обжитой господский дом, сад да рощи, Истья да пруды. И еще лес за барским полем, куда посылали девок по грибы, по ягоды.

<sup>1</sup> Много любопытного из истории Гулынок любезно сообщил мне Андрей Филиппович Щегольков. Дед его был тамошним крепостным, сам А. Ф. Щегольков прожил почти всю свою семидесятилетнюю жизнь в Гулынках.

При слове «усадьба» видаишь белые колонны, сквозящую листву лип, дорогу, обсаженную рослыми березами, цветники, разбитые заботливо и любовно. Видение не обманчиво, все так и было. И старые няньшки были, и моськи, и часы, сипло отбивающие «Коль славен», и малашки, чешущие бариновы пятки, и мебеля красного дерева, и развалистые диваны, и длинные трубки. Трубок без счета, хоть полк закурирай.

Гулынки, конечно, не чета «версалям», что возникли под крылами екатерининских орлов. Рязанское это село было просто-напросто старым поместьем, где сизой зимою жарко топились изразцовые печи, а красным летом густо жужжали черные мухи. Были Гулынки старым поместьем с залой, с низенькими антресолями «для детей» и тесной людскою, кладовыми и подклетями, бисерными вышивками и шелковыми ширмами. Старое гнездо, пахнущее яблоками, вареньем, хлебом. Старое гнездо, набитое платьем, посудой, зеркалами, утварью, всем, что оплатили поколения рабов и накопили поколения господ.

«Положение этого класса в обществе, — писал Ключевский, — покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем; с рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-губернатору, довершал свое образование в Итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском кабинете с Вольтером в руках».

Черты верные, но беглые, общие, самим историком не раз дополненные. Васю Головнина ждал иной путь. Положение его, конечно, «покоилось на политической несправедливости», однако не «венчалось общественным бездельем». Он был прямым наследником служилых дворян петровской выделки. А духовно, подобно многим современникам, пристал к вольнодумцам вольтеровской закваски.

Коллежский асессор Михайло Васильевич, сам в молодости гвардеец, определил первенца в преображенцы. Васенька еще сливки попивал, когда уж был «написан» унтер-офицером гвардии. Все наперед расчислил батюшку: из сержантов гвардии пойдет Василий капитаном в армию, майором отставку получит да и обоснется в Гулынках. Куда как славно!

В казарму преображенцев он не попал. В армию тоже. И не до пехотного майора дослужился. И в Гулынках бывал наездами, а не сиднем сидел. Не по отцовским наметкам судьба сложилась.

Ехали на перекладных. Дожидаясь подставы, ругали смотрителей и опоражнивали самоварчик-братину. Астраханским трактом ехали, гулынцам знакомым. Пошли уж города московской артели: Зарайск, Коломна, Бронницы.

Совсем по-иному рассудили родственники-опекуны. Какая-де гвардия, коли состояние у сироты недостаточное? Батюшка умер, матушка умерла. А Васю и не спрашивали — недоросль. И рассудили родственники-опекуны: быть ему в морской службе. Отчего такая мысль явилась? Никто, кажется, из Головинных на морях не качался. И никто из Вердеревских. На кораблях не отыщет Вася родного человечка. Без родной души кто в службе порадеет? Ну ладно, бог не оставит сироту.

В Москве не задерживались. В Москве каждый день влется в копеечку. Снегу в снегопад не выпросишь, за все втридорога дерут. И опять гремят бубенцы. Теперь уж на Петербургском тракте.

Тогдашний Петербург еще не был Северной Пальмирай. Ансамблей, памятных каждому либо зрительно, либо книжно, еще не возвели блистательные зодчие. «Строгий, стройный вид» лишь возникал. Торцовых мостовых и в помине не было. Дворцовую площадь не Главный штаб обнял, а строения, отдаленно напоминавшие парижский Пале-Рояль: лавки, трактиры, маскарадные залы, театр немецких лицедеев. На углу Невского и Владимира вонял Обжорный ряд. Мальчишки играли в бабки. Бродили стаи голодных псов. И хотя посверкивал адмиралтейский шпиц, но еще и самому Андрияну Захарову не мерещилось захаровское Адмиралтейство. А тогдашнее было неказистое, неоштукатуренное, за валом из земли, за рвом с водою. Европою, по мнению современника, можно было счастье лишь Зимний, прекрасные набережные, две Морские и две Миллионные, Невский до Аничкова моста.

Впрочем, гулынский мальчишка не задержался в Питере. Уж несколько лет, как на здешнем Васильевском острове сгорел Морской кадетский корпус. На другом острове помещался теперь корпус — на Котлине, где город и крепость Кронштадт.

Вася ехал туда зимней дорогой, среди перекатных сугробов Финского залива. А жаль... То ли дело летом, водою! На переходе из Невского устья в Кронштадт возникает какое-то отрадное широкое и светлое впечатление; тихо и властно берет оно за душу, оставаясь в сердце навсегда. Невский город показывает грани свои и ракурсы, в море, по слову поэта, моются мысы, берег оторочен холкой лесов. И вот всплы-

вает — как на бочках, как на понтонах — знаменитая крепость...

В звуке «Кронштадт» слышится что-то твердое, несокрушимое. Кулак, защищающий столицу. В его гаванях — корабли. Пункт «отшествия» и пункт «пришествия», говорят навигаторы. Уходят в море, нередко и на смерть; возвращаются с моря, бывает, и за наградой. Нельзя разъять Кронштадт и флот. Их общность определяет тысячи судеб: матросов и офицеров, плотников, пушкарей, парусников. Кронштадт (как флот, как само море) не балует своих служителей. У него медвежья повадка, каменные скулы, натруженные руки. Кронштадт не терпит неженок. В будни он работает не разгибаясь. От его праздников шибает сивухой.

При Петре итальянские мастера возвели для царского любимца князя Меншикова большой дом с крытыми галереями и бесчисленными окнами, отражавшими облачное кронштадтское небо. Дворец назвали Итальянским. Когда светлейшего сослали, дворец достался казне, как и все богатства, нахапанные Данилычем.

Казенный глаз — не хозяйский глаз: Итальянский дворец ветшал. Ветра просвистели его насквозь. В ненастье дом будто постанивал. Он пропах мундирным сукном и амуницией. На бывшей «жилплощади» Меншикова квартировало пять рот, без малого шестьсот молодцов.

В январе 1788 года к ним прибавился еще один.

4

«...Батюшка сам отвез меня в корпус, прямо к майору Голостенному, они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое: без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка садился в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха, спущен корабль на воду, отдан богу на руки... Пошел!» И вмиг из глаз скрылся».

Я цитирую записки вице-адмирала Сенявина. (Имя, кажется, достаточно известное.) Митюха попал в корпус много раньше Васи. Но и много спустя «без хмельного ничего не делалось». А уж если родимый батюшка напутствовал сыночка столь куцо, хотя и по-суворовски выразительно, то сироту, надо полагать, еще поспешнее сплавили богу на руки.

Примечательно, однако, отцовское «прости». Сенявин-отец был офицером, сознавал, значит, что закрытое военное учебное заведение не малинник.

Начать с того, что кадет обирали капитенармусы и кастеляны. Барчата кормились, как в худом монастыре. Но барчата не хотели играть роль послушников и грабили окрестные огороды. Обыватели плакались начальству. Начальство держалось нейтралитета: не пойман — не тать. Изловить же голодного волчонка было хлопотно. Да и боязно, ибо однобрашники мстили «шарапом». Ночь вдруг оглашалась воем: «На шара-а-а-ап!» И вот уж огород убит.

Нравы военных учебных заведений не отличались мягкостью. «Будешь воином суровым...» Современник Головнина свидетельствовал о том выразительно.

«Воспитание кадет, — писал он, — состояло в истинном тиранстве. Капитаны, казалось, хвастались друг перед другом, кто из них бесчеловечнее и безжалостнее сечет кадет. Каждую субботу в дежурной комнате вопль не прекращался. Между кадетами замечательна была вообще грубость; кадеты пили вино, посыпали за ним в кабаки и пр.; зимою в комнатах кадетских стекла были во многих выбиты, дров отпускали мало, и, чтоб избавиться от холода, кадеты по ночам лазали через заборы в адмиралтейство и оттуда крали бревна, дрова или что попадалось... Была еще одна особенность в нашем корпусе — это господство гардемаринов<sup>1</sup> и особенно старших в камерах над кадетами; первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей; я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перстикал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядаешься. Боже избави ослушаться! — прибывают до полусмерти. Зато какая радость, какое счастье, когда произведут, бывало, в гардемарины; тогда из крепостных становишься сам барином...»<sup>2</sup>

Словом, «спартанство». Прежде чем повелевать, научись повиноваться. Вот и учились. Впрочем, не только в дежурной комнате, под розгами, но и в классах: с семи утра до одиннадцати — теоретические предметы, с двух пополудни до шести — упражнения.

Тот же очевидец, будущий декабрист Штейнгель, уничи-

<sup>1</sup> Воспитанники старших классов.

<sup>2</sup> Корпусные «баре», или «старикашки», отличались от законо-послушных «пискунов» широкими штанами с клиньями. И вот удивительное постоянство: мода на брюки-клеш продержалась во флоте два с половиною века! Еще в сороковых годах нашего столетия было немало поклонников «клиньев», которые за свое щегольство платились дисциплинарными взысканиями и оставались «без берега». Кажется, лишь в последнее время узкобрючное поветрие изгнало эти самые «клинья».

жителен: «Учителя все кой-какие, бедняки и частью пьяницы, к которым кадеты не могли питать иного чувства, кроме презрения». Сказать правду, барону следовало вывести за скобки нескольких тогдашних светочек.

Головнина восхищал математик Василий Никитович Никитин, магистр Эдинбургского университета. Профессор был соавтором известного учебника тригонометрии; учебник еще пахнул типографией в год поступления Головнина в корпус.

Был еще Курганов. Своебычливая фигура Николая Гавриловича достойна внимания. Имя это широко разнеслось: «Письмовник» читывали в захолустьях.

Курганову колыбелью была сумеречная Сухарева башня. Башня вплывала в московские улочки, как адмиральский корабль в шхеры. В Сухаревой башне мужали первые водители русских фрегатов. Разночинец Никола Курганов хлебал с ними из одного котла.

Строя, фрунта солдатский сын не изведал: он слишком хорошо «ведал астрономию». Он умел втискивать астрономические познания в самые крутые мозги.

Говорят, Николай Гаврилович не боялся хмельного. Ну, по мерке ему и пословица: пьян да умен — два угодья в нем. Второе угодье обширным было. Курганов работал, как пахарь. В чинах, однако, не успел: хвостом не вилял, слыл «лапотным грубияном». А воспитанники души в нем не чаяли. Он был усмешлив, ироничен, не выносил дутой учености. Он был участлив, сердечен, прост в обращении. Короче, отличный и дальний человек.

Преподавание, литература поглощали его до макушки. Знатоку трех языков были доступны европейские тиснения. Он уподоблялся лоцману. И не просто переводил, но дополнял и уточнял.

Благодаря Курганову разжился Морской корпус сочинениями Бугера, Буде де Вильгюэ, Саверьена, техническим пособием «Морской инженер», сборником мореходных таблиц, «Повестью о корабельной архитектуре», излагающей историю судостроения.

Сказать: «Курганов — добрый гений русского морского образования» — не значит бросить слова на ветер. Но это еще не все. Он был автором «Письмовника». Полное наименование книги такое: «Российская универсальная грамматика или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русского языка, с седьмью присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей».

То было явление русской письменности. Оно выдержало

восемнадцать изданий! Грамматика излагалась ясно, что не так-то уж и просто. Потом следовали в алфавите пословицы. Потом «Краткие замысловатые повести». Не десяток, не дюжина — триста двадцать одна. Они были навеяны чужестранными источниками. Курганов не перелагал. Он переделывал. И еще: «Стихотворная хрестоматия», «Всеобщий чертеж наук и художеств», толковый словарь иностранных слов и слов славянских. Кургановскую энциклопедию знала вся читающая Россия.

Тактику, как на море воевать, долбили кадеты по Госту. Еще в конце XVII века достопочтенный тулонский профессор Поль Гост издал трактат «Искусство военных флотов». В середине XVIII века не менее достопочтенный директор Морского корпуса Голенищев-Кутузов перевел трактат на русский<sup>1</sup>. Гостова классика старела. Уже выпускник корпуса Федор Ушаков воевал на море отнюдь не по правилам тулонца, и воевал превосходно. Но кадеты все еще зубрили «Искусство военных флотов».

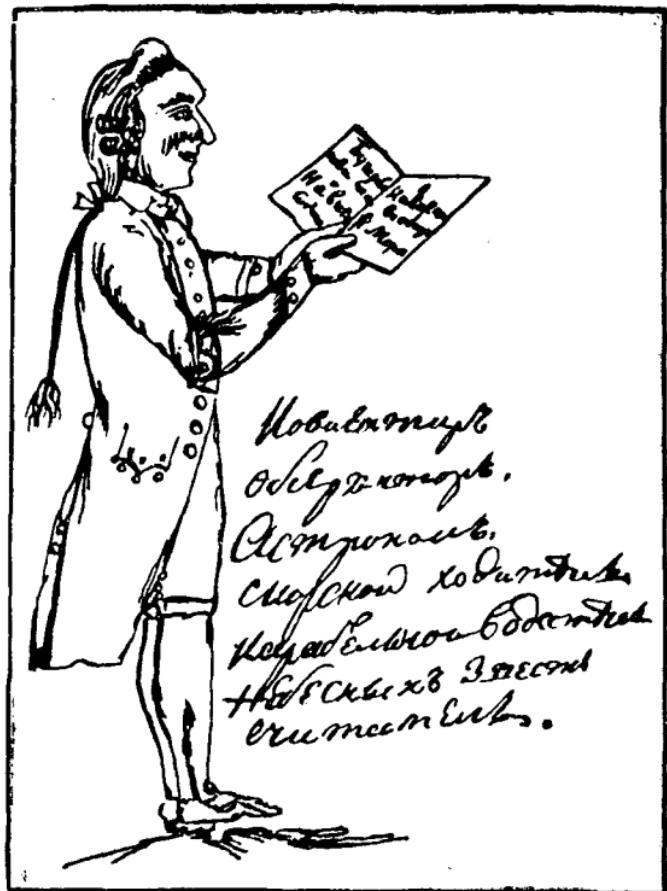
Главной наукой считалась математика. Она тут княжила, в этом Итальянском дворце. Корабли давно стали самой поэзией, но корабельщики давно «алгеброй поверяли гармонию». Паруса, тоже древний предмет поэзии, требовали закройщика-геометра. В красоте оснащенных кораблей воплощалась красота математических формул.

Урания, муга астрономии, несла гардемаринам небесный глобус. На крыше Итальянского дворца была обсерватория. Будущие офицеры припадали к телескопу. «Бездна, звезд полна», горела для плавающих и путешествующих. Молодые люди постигали «звездную книгу», чтобы плавать и путешествовать.

Обсерватория была окном во владения Урании. Из окон второго и третьего этажей виднелись владения Нептуна. Кронштадтские гавани возникали отчетливо, словно на ландкарте. Корабли с убранными парусами казались изящно-легкими, как на маринах. Корабли с поставленными парусами казались окрыленными. Гавани жили приманчивой для кадет жизнью.

Веснами начинались кампании, практические плавания Балтийского флота. Кадеты захлопывали учебники. Каптенар-

<sup>1</sup> Иван Логинович Голенищев-Кутузов (1729—1802), человек действительно просвещенный, в Кронштадт почти не наведывался. В тот год, когда он издал перевод Госта (1764), его назначили эдаким морским дядькой к десятилетнему генерал-адмиралу, будущему императору Павлу I. Кроме того, Голенищев был генерал-интендантом флота и членом Адмиралтейской коллегии. Где уж тут таскаться в Кронштадт и вникать в жизнь «вверенного» Морского корпуса!



Дружеский шарж на Н. Г. Курганова. Надпись на рисунке: «Навигатор, обсерватор, астроном, морской ходитель, корабельный водитель, небесных звезд считатель».

мусы раздавали столовые приборы, кастеляны — белье. Кадеты глядели именинниками. Итальянский дворец утихал. Кронштадт тоже. В так называемых губернских домах (их строили при Петре за счет губерний) пустели офицерские квартиры. Из Морского собрания, заведенного совсем недавно, не доносилась музыка. Гремела «музыка» прощальных пушечных салютов.

Практика не была прогулкой. На вахте не вздремнешь, как случалось на уроке. И не угреешься на палубе, как в спальном покое. На ходу и на якоре все зимнее, книжное оборачивалось явью. Явь поражала новизною. Одни пугались будущего, другие ему радовались. Тем и другим приходилось солено.

Императрица всероссийская была двоюродной сестрой короля шведского. Коронованные родственники враждуют чаще некоронованных.

Екатерина II и Густав III обменивались любезными письмами и подарками, устраивали свидания. Заглазно оба не скучились на брань. «Этот король такой же деспот, как мой сосед султан», — язвила царица, забывая собственное тиранство. Густав отплачивал намеками на альковные утехи и успехи сестры; недостачи «фактического материала» король не испытывал.

О словесной пикировке монархов не жаль бы и умолчать. Но за нею крылись серьезные обстоятельства, отнюдь не словесные.

Густав III, полагает шведский историк, «хотел блистать подобно героям французских классических трагедий». Тень Карла XII бродила в почти квадратном королевском замке. Она взвыала к отмщению. Изо всех, кто занимал престол после Карла XII, Густав был единственным рожденным в Скандинавии. Между ним и Карлом протянулась нить.

Французы расщедрились на субсидии. Шведская бранная мышца налилась силой. Флот умножился, оснастился. Но король выжидал. Выжиная, дурачил сестрицу: «Я люблю мир и не начну войны». Пылкое миролюбие зачастую признак военного зуда. Зуд сделался несносен, когда Россия и Турция схватились.

В Константинополе ухаживали за шведским посольством. Султан напоминал северному коллеге про старинный оборонительный союз, умащивал денежными ссудами. Король согласно кивал.

Из Петербурга шведский посланник Нолькен бодрил его величество пространными депешами о хилости морских и сухопутных войск, дислоцированных близ невской столицы.

Пора было сыграть классическую трагедию. Занавес поднялся с тихим шелестом; то был шелест форштевней — флот покидал свою главную базу Карлскрону. На линейном корабле «Густав III» вился флаг генерал-адмирала герцога Карла Зюдерманландского, брата государя. Капитанам вручили запечатанные пакеты с секретными инструкциями. Экипажи были в неведении. Как обычно, тот, кто платит кровью, ни черта не знает.

К походу готовились тайно. Но посол граф Разумовский не дремал в Стокгольме, а русский рубль был тогда весом. И пе-

тербургский двор узнал, что швед сулит дамам пышный празднинк в Петергофе, что на фальконетовом монументе будет выбито имя короля-победителя, а в Зимнем дворце униженная царица дрожащим пером подпишет мирные артикулы, согласно которым Балтийское море опять станет шведским озером, прибалтийские земли — шведским владением.

Венценосцы баловались литературой. Густав писал историко-романтические драмы, Екатерина среди прочего сочинила комедию «Горе-богатырь». В «Горе-богатыре» угадали стокгольмского рыцаря. Зрители в Эрмитажном театре смеялись и рукоплескали.

Однако под ложечкой у них екало. Подступы к столице лежали почти нагими. Екатерина трусила. Ее статс-секретарь записывал в дневнике: «Не веселы». Другой очевидец утверждает, что матушка императрица «плакали».

Екатерина сетовала на Петра: слишком-де «близко расположил столицу». Отныне надежей были эскадры парусные и гребные. Спокойный храбрец, герой Чесмы адмирал Грейг получил указ: «Следовать с божией помощью вперед, искать флота неприятельского и оный атаковать».

Замечают, что французская трагедия основывалась на правилах Аристотеля, дурно понятых Корнелем. Густав III дурно понял правила стратегических драм. Как многие недруги «северного медведя», король думал овладеть им в собственной его берлоге.

Трагедия, в которой Густав играл не очень-то блестательно, была в трех действиях: семьсот восемьдесят восьмой год, восемьдесят девятый, девяностый. Театром служила Финляндия и Финский залив. Главное происходило на море. Столкновения флотов определяли развитие сюжета. Если, по выражению одного немца, «море — только дорога», то Балтийское море — дорога, политая кровью русских и шведов.

Патриотизм не в отвержении чужих подвигов. Русский солдат и матрос, шведский солдат и матрос умели воздавать должное мужеству неприятеля. Лжепатриотизм цветет на верхах иерархии. Реляции, публиковавшиеся в Петербурге, как и реляции, публиковавшиеся в Стокгольме, звучали фанфарами.

Всматриваясь в боевую летопись, замечаешь обоюдные удач и неудачи при отсутствии решительного перевеса. Все напоминает старинное флотское состязание — перетягивание каната. Обе стороны упираются ногами в палубу, напруживают бицепсы, кряхтят и вскрикивают, подаваясь то вперед, то назад.

Но именно потому, что дело не увенчалось в первое же

лёт, именно поэтому оно означало крушение планов Густава III. Он не одолел «северного медведя». Тот рычал, взмахивая лапами.

Немирными выдались начальные годы учения Васи Головнина. Кронштадт жил тревожной готовностью. Корпус спешно выпускал гардемаринов — «за мичманов». И уже были потери: шведы пленили два русских фрегата. На борту фрегатов находились Васины однокашники.

Его черед нюхать порох настал в девяностом году. А коль скоро гардемарин Василий Головнин вступает под сень парусов, должно пристальнее взглянуться в панораму.

Переменчивой зимою 1789/90 года на верфях Карлскроны усердствуют плотники. Все кипит и на верфях шведской части Финляндии: в Свеаборге, Або, Гельсингфорсе. Густав берет под свою царственную длань галерный флот. Герцог Карл, салютуя себе клубами трюбочного дыма, твердо верит, что корабельным флотом командует именно он, брат государя, а не его адмиралы.

Соглядатаи доносят: Екатерина намерена сломать, наконец, шею «полоумному» (ее диагноз) родственнику. Объявлен новый рекрутский набор. Бреют лоб пятерым из пятисот, а не одному, как раньше. Осмотрительного кунктора Мусина-Пушкина устраниют. Ему на смену едут двое: русский сановник «благородного» корня граф Салтыков и барон Игельстрем, отпрыск немецких рыцарей, пылкий и хитрый.

Моряки к этому времени лишились Грейга. Флотовождь умер. Его сменил Чичагов. Царица не без опаски спрашивала, сумеет ли адмирал выстоять противу шведа. Чичагов отвечал: «Бог милостив, магушка: не проглотят!»

Итак, стратегический план Густава III прежний: армия и флот, сблизившись в районе Выборга, соединенно насядут на Петербург. Но в отличие от прошлых кампаний его величество не намерен изнывать в осаде русских укреплений. К черту! Обойти, оставить в тылу. И пусть пухнут с голоду.

«Я утверждаю, — пишет Густав своему приближенному, — что теперь главным образом нужно действовать не столько осторожно, сколько смело... Будьте генералом Карла XII. Бывают случаи, когда смелость есть истинное благоразумие».

Это верно. Но в данном случае был не тот «случай». И королю недолго ждать тяжеловесных и внушительных доказательств «от противного».

Впрочем, начин был удачным.

Еще март стоял, еще ноздреватый лед-багренец колыхался, когда шведский десант обрушился на эстонский берег. Из Рев-

веля прискакал в Зимний взмыленный курьер. Статс-секретарь императрицы отметил в дневнике: «Во все утро переполох».

В Ревеле спешно готовили эскадру. Выходу из гавани мешал лед. А шведы гуляли в открытом море. Шкиперы купеческих судов видели их южнее острова Эланд. Минули недели, и теперь уж с салингов русских кораблей усматривали чужой флаг: прямой желтый крест на синем поле.

Тем временем Кронштадт напрягся. Главный командир порта Петр Иванович Пущин, человек неуступчивый, но при том и неуемно деятельный, сколачивал ту ударную силу, которой скоро доведется выказать огневую мощь.

Тысячи бритых лбов расписывали по кораблям, обряжали и обучали наскоро. Из складов (по-тогдашнему — магазинов) везли судовое вооружение, боевые припасы. Обнаруживались прорехи именно там, где не ждали. Пущин гневался, скривлялся, строчил слезные бумаги в Петербург. И, не дожидаясь помощи, изворачивался собственной сметкой.

Особенное неудовольствие навлек на свою голову Петр Иванович повальным изъятием офицерской и адмиральской прислуги. «Прислугой за все» подвизались матросы. Матросов ждали корабли, и командир порта опустошил господские дома. Отечество отечеством, да ведь надобно кому-то топить печь, ставить самовар, колоть дрова, бегать в лавку? Пущина кляли почем зря.

Но тут-то Петр Иванович еще успевал отругиваться. А вот что было делать, коли с форточек сняли солдат да и марш-марш в Финляндию? Что было делать, если до комплекта недоставало ста шестидесяти мичманов, а Итальянский дворец выставил меньше половины? И что было делать, когда флагманы хворали и отсиживались дома, на печи? Правда, вице-адмирал Круз казался, несмотря на старые раны, здоровехоньким. Да уж лучше б, прости господи, Александр Иванович лежал в горячке: спасу нет от его желчных требований.

Круза легко понять. Начальник кронштадтской эскадры понаторел в походах, не из устава знал, каково в бою. Вот он и клевал коршуном содержателей «магазинов». Упаси бог сказать: «нельзя» иль «нет». Да и молодые офицеры и гардемаринки, в Круза влюбленные, брали казну приступом, быть может, вспоминая кадетский «шарап».

Гардемарина Головнина назначили на эскадру Круза. Гардемарин ликовал. Вице-адмирал считался одним из лучших флагманов. Отец его был земляком Гамлета, сам Круз — уроженец Москвы. Моряк чуть не с молочных зубов, он посивел

на русской палубе. Даже среди отчаянных храбрецов Первой архипелажской экспедиции, уничтожившей турецкий флот в Средиземном море, Круз выдавался личной храбростью. В сражении у острова Хиос он прошел на своем линейном корабле «Евстафий» вдоль всей неприятельской эскадры, прошел буквально с музыкой (громел корабельный оркестр), сблизился на картечный выстрел с султанским адмиралом и завязал баталию. Когда дошло до рукопашной, Круз первым ринулся на борт «Реал-Мустафы». Вражеский адмиральский корабль был захвачен. Но и «Евстафий» взлетел на воздух. Обожженный, израненный Круз очутился в воде. Он вынырнул, ухватился за обломок мачты, увидел своего артиллерийского офицера. Тот, отфыркиваясь, закричал: «Каково я палил, а?» Подошла шлюпка. Утопающих стали подбирать. И тогда-то Круза наградили ударом весла по голове. Награда, полагать надо, заслуженная: храбрец, как большинство «отцов командиров», был скор на расправу с нижними чинами.

Не знаю, утих ли Александр Иванович, получив таковое наказание, или сделался еще ретивее. Мужества у него, впрочем, не убавилось. Он по-прежнему не кланялся ядрам, умел под обстрелом чаевничать, боялся лишь одного: не пушечного грома, а небесного, грозы боялся.

Круз держал флаг на корабле «Чесма». Не будучи полным адмиралом (предмет его вздоханий), Александр Иванович поднял флаг не на грот-стеньге, а на фор-стеньге. И не белый с андреевским крестом у древка, а синий с таким же крестом.

Эскадра имела тридцать один вымпел. Названия линейных кораблей вызывают улыбку: «Три иерарха», «Иезекиль», «Двенадцать апостолов», «Иоанн Богослов», «Максим Исповедник»... Какой иконостас! А деревянные-то громады с десятками орудийных стволов назначались для прямого и многократного нарушения заповеди «не убий». Выступала и древняя княжеская Русь: «Брячислав», «Всеслав». Был и фрегат «Мстиславец». (Не в честь ли первопечатника Петра Тимофеевича?) Вытягивался из гавани и линейный 66-пушечный корабль «Не тронь меня».

О, конечно же, это лучший корабль эскадры: ведь на его палубе четырнадцатилетний гардемарин Василий Михайлович. Да что там эскадры! Лучший корабль всего российского флота. Офицеры исполнены львиной отваги. Матросы ни о чем не помышляют, кроме сражений до последнего вздоха.

Линейным 66-пушечным командует англичанин Джемс Тревенен. Он недавно под русским знаменем. Но уже заслужил репутацию храбреца, человека просвещенного, живого, «сообщи-

тельного» нрава. Не мало на флоте иностранных едоков русского хлеба; Тревенен, однако, не из числа захребетников.

Здесь, на линейном корабле, уже покинувшем Кронштадт в составе Крузовой эскадры, получит Головнин то, что называется боевым крещением. Но пока маловетрие. Приходится лавировать или лежать в дрейфе в пяти милях от Толбухина маяка и глазеть на робко зеленеющий сестрорецкий берег.

До боя считанные дни.

За сердце не хватают холсты с изображением морских баталий. Живописцы академически передают эффекты моря, дыма, огня. И дотошно вырисовывают построение в линию, пушки, паруса. Это дотошность гроссбуха. Правды нет: нет пота и ужаса боя.

Донесения о сражениях пишутся в адрес высшего начальства. Тут зачастую и совестливый теряет остойчивость. Правая рука вдруг левшит... Спустя годы архивную пыль отрясают официальные историки. Они редко удостаивают вниманием чужеземные источники. Разве что для подкрепления своей точки зрения. Да и то сказать, чужеземные документы тоже не твердой рукой начертаны. Что ж до мемуаров, то моряки-ветераны в отличие от сухопутных почему-то тяготились марать бумагу.

Но в архивных хранилищах есть шханечные журналы, предки вахтенных. Их авторы не успевали лукавить, хотя бы потому, что заносили на плотные, шероховатые страницы происшествия часовой давности. Широты и долготы, галсы и румбы, начало атаки или конец атаки, сигналы флагмана, распоряжения командира. Все правда. И однако, не вся правда. Движения корабля даны точно. Движения людских душ никак не даны. А морской бой слагался не из одних эволюций, артиллерийских дуэлей или абордажных схваток.

За поход девяностого года гардемарин-отрок удостоился боевой медали. В своей биографической записке Головнин об этом не упоминает. Вот уж точно, красноречивое умолчание. Награду не выклянчил какой-нибудь радетель. («Не имел он и мичмана своим покровителем», — замечает Головнин о себе самом.) Значит, не склонился в уголке паренек, а если и дрогнул, то подавил робость, держался молодецки. И притом не однажды, не минутами, потому что всем кораблям досталась ломовая, страдная работа.

Круз и герцог Карл сошлись 23 мая 1790 года в двенадцати милях к северо-западу от Красной Горки. Швед перевешивал четырьмя линейными кораблями. Перевешивал личным составом: 15 000 против 11 000. Перевешивал артиллерией:

2000 стволов против 1400. Прибавьте еще значительную гребную эскадру, повисшую на правом фланге кронштадцев.

Суть, понятно, не только в арифметике. Воюют не числом, а умением — афоризм летучий. Шведы давно были в море. Наплавались. Сплотились. Как говорится, уже чувствовали свои корабли. Круз получил от Пущина рекрутов, собрал народ там и сям, включая и арестантов.

Вице-адмирал, сознавая преимущества врага, ждал подмоги ревельцев. Чичагов, однако, на горизонте не означался. Отступать же было некуда: позади Петербург. Братьям Густаву и Карлу стоило прогнать старика Круза, запихать в Кронштадт — и шлагбаум поднят: свози десанты в Ораниенбаум, в устье Сестры-реки, а там уж двигайся марш-бросками к русской столице. Заслон у двоюродной Катрин пустячный: обыватели, горожане.

В третьем часу пробрезжило. Море как выцвело. Ветер тянул слабо. Вдалеке, над Питером, струилось розовое. Был лучший час в сутках майской Балтики.

Моряк-созерцатель кочует в поэмах. В морях кочует моряк-практик. Практик использует силы природы, а не умиляется. Не богиню Аврору приветствуют пушечные залпы, нет, это приказ: «Преследовать неприятеля». И сердитые повторы: «Исправить линию», «Прибавить парусов».

Увеличить парусность — значит увеличить ход. Прибавить парусов — значит лезть к брамселям и бом-брамселям. Вице-адмиралу досадна леность ветра; матросов она тешит: не сорвешься с реев.

Эскадра сближается с противником. Такие минуты для тугих нервов. В такие минуты слух обострен. И — странно — будто глухнешь.

Гром грянул: стреляли шведы. А Круз молчал. Круз держал сигнал: «Атаковать неприятеля на ружейный выстрел». У Круза нервы не провиснут слабиной, как пеньковые тросы. Только б выдержали пушки. Черт знает, каково литье... Только б выдержали пушки... Русские молчат. Синий прямоугольник вице-адмиральского флага трепещет на форстенъге. Сын Круза на эскадре. Сына могут убить. На все воля божья. Вот и на то его воля, что в авангарде у шведа контр-адмирал Модей, добрый приятель. Двадцать лет назад сдружились. Двадцать лет спустя подерутся. Есть долг дружбы, но есть и долг службы...

Однако не пора ль?

Русская артиллерия подает голос. Море вскипает. Ничего не видно. Дым, дым, дым. Грохот. Тяжелый, слитный, чудо-

вищный грохот. Он катится на восток, он слышен в затаившемся Петербурге.

Но в Петербурге не различают тех звуков, которых так опасался старый вице-адмирал. Орудия не выдерживают. Разворотило пушку на корабле «Америка», да еще рядом с крюйт-камерой, едва, чудом не подняло на воздух всю эту «Америку». И на «Сысое Великом» разворотило. Где одиннадцать вышло из строя, где — семь. И в деке «Не тронь меня» тоже. Были убитые, были раненые. Тут уж маневр не спасет, тут уж и впрямь «артиллерия бьет по своим».

Не различают в Петербурге ни предсмертного хрипа, ни хруста костей и рангоута, ни матерного захлеба. Город гудит и дрожит. Так утверждают шведские источники. Царицыному статс-секретарю, очевидно, не до своих тетрадей. Храповицкий лишь помечает: «Ужасная канонада слышна с зари почти во весь день».

Сражение дважды изнемогало и дважды возгоралось. На эскадрах воняло паленым, было склизко от крови. Лекари в кожаных фартуках пилили, как столяры, шили, как парусники. И на обеих эскадрах не видели солнца.

Солнце садилось. Натекал сумрак, море будто густело. Ветер дул западный, слабый, как и утренний. Пальба стихала, дым нехотя опадал. Шведы медленно удалялись, русские нешибко преследовали.

Наступил час реляций. Русский курьер готовился в путь как вестник победы. Шведский курьер готовился в путь как вестник победы. Пусть одни мундирные историки доказывают: победитель остается на поле битвы; пусть другие доказывают: отступить с поля битвы — не значит проиграть.

А в блеклом небе проступают блеклые звезды. Мир прекрасен, хорошо жить. Но шведы хоронят в море шведов, но русские хоронят в море русских. И кто-то не дождется своих в Швеции, кто-то не дождется своих в России.

Ночь стояла в мерном ропоте моря. Вице-адмирал объезжал корабли. Он видел изодранные паруса, перебитый рангоут, слышал возню матросов, занятых ремонтом, чуял запах остывающих, как жаровни, пушек.

Старик тяжело поднимался по трапам. Хотел знать, что да как. Быть может, ему попался мальчик, прикорнувший в артиллерийской палубе? Отрадно бы изобразить старого морского волка, склонившегося над юным воином. Как адмирал, сострадательно улыбаясь, тихо касается сухими губами воспаленного лба героя-гардемарина. Черта с два! Александр Иванович с мальчишества грыз корабельные сухари, вот и зачер-

ствел. Оставим беллетристам ласковых, как феи, военачальников. У командующего заутра бой, командующему думать за всех, обо всех.

Гардемарин спит. Он закопчен порохом, как бедуин зноем. Где-то в закоулке его сотрясенной души струится: не оплошал, не шмякнулся мордой в грязь. Ах, эти кадетские присловья: «Смерть — копейка», «Ухо режь — кровь не капнет»! Ну, спи, Василий Михайлович, почивай. И тебе завтра в бой.

Когда развиднелось, берега все еще скрадывал дым минувшего сражения. Но на море, над эскадрами занимался светлый, погожий день. И ветер убрался, совсем зашилело. Словно для того, чтобы эскадры не могли сблизиться.

Они бездействовали до полудня. Потом разведка донесла герцогу Зюдерманландскому о приближении адмирала Чичагова. Того самого, что успокаивал Екатерину: «Бог милостив, не проглотят!» Теперь уж герцогу Карлу следовало опасаться, как бы не «проглотили». А Крузова задача была в том, чтобы устоять до встречи с Чичаговым.

Королевская эскадра открыла огонь по авангарду Круза, и второе Красногорское сражение началось. Тотчас у русских вышла досадная заминка: задние корабли сбились кучей. Потребовалась молниеносная работа на ряях. Опасность подстерегнула худо обученные экипажи. Пренебрежение к опасности — на миру и смерть красна! — позволило управиться вовремя. И едва управились, как ответили на огонь неприятеля. Дуэль длилась несколько часов. Шведы щедро били по адмиральскому кораблю, в каюте у Круза уже зияли пробоины.

В каюте у герцога Карла пробоин не было. Герцог в пекло не лез. Он торчал за линией своей эскадры, на фрегате «Улла-Ферзен». И оттуда вроде бы дирижировал пушечным оркестром. Но тут вдруг набежало разведывательное судно с пренеприятнейшим известием: на горизонте Чичагов. Герцог Карл велел отступать.

Вице-адмирал Круз преследовал противника. У старика отлегло от сердца. Он стащил парик, платком, огромным, как кливер, отер мокрую седую голову.

Вскоре близ острова Сеспар Круз салютовал Чичагову одиннадцатью выстрелами: «Вступаю в ваше распоряжение». Отныне главные силы императорского флота насчитывали 27 линейных кораблей и 18 фрегатов; главные силы королевского — 21 линейный корабль и 8 фрегатов. Разница существенная.

А тут еще Карл допустил промах столь же крупный, сколь и непонятный. Герцог не укрылся в родных шведских шхерах, нет, он бросился опрометью в Выборгский залив. К заливу

подтянулись корабли Чичагова и закупорили неприятеля, как в бутылке.

Выборгский залив вырублен в граните. Гул древних ледников как бы затаился в буром, в багровом. При тихой погоде нескончаем диалог сосен и волн. Ветер-смычок извлекает из них глуховатую партию контрабасов. И какое молчание в студеную пору! Будто молчание всех ушедших времен. Прекрасен Выборгский залив... Но лишь для того, кто свободен. Или мнит себя свободным. Офицерам и матросам герцога Карла залив был тюрьмой. Они были блокированы, им некуда было деться.

Стратегические и тактические подвиги в кабинетах и штабах — это одно; стратегические и тактические подвиги под открытым небом — другое. Ни король, ни герцог не предусматривали бегства на Выборгскую позицию. Но коль скоро конфуз приключился, оба заверяли, что отступали по плану, со строгим расчетом, в полном спокойствии и т. д.

А с уха на ухо король цедил, что обманулся в военных дарованиях герцога. Надо прибавить, что Густав отплатил Карлу тем же. В общем-то они были квиты. Но было ль от того легче шведам?

Вот они теперь, в июне девяностого года, стеснились всей эскадрой в проклятой ловушке. У них недоставало снарядов. Недоставало провизии, пресной воды. Да так, что граф Салтыков, державший Выборг, делал красивые жесты: кормил неприятельского командующего. Взамен же получал от него незапечатанные письма с покорнейшей просьбой доставить в Стокгольм.

Судьба шведского флота повисла на шкертеке, как называют моряки тонкий трос. Но минула неделя, минула вторая, а герцог Карл все еще курил свою трубку, и его шпага все еще была при нем, а не в руках победителей-русских.

Иной раз поболтаться на якоре и не дурно. Однако большинство русских моряков предпочло бы выбрать якоря, при хлопнуть «надменного соседа», да вместе и всю эту войну. Общую пылкость разделял Головнин. Уже перекрещенный траекторией шведских снарядов, четырнадцатилетний витязь мысленно прорывался в залив Выборгский, громил герцога Зюдерманландского.

Гардемарин вострил уши, слушая рассуждения старших. Офицеры бралились: упустили время, дали-таки шведу оглядеться. Офицеры вспоминали случаи из минувших морских баталий. Прав был лорд Гаук! Хоть и потерял на мелях несколько судов, но истребил вчистую флот француза Конфлана. Вот

она, рядом, вся честь и слава. Так нет, разрази гром, адмирал Чичагов медлит. Медлит, медлит... И Круз Александр Иванович жалуется государыне, что эти проволочки «весьма чувствительны».

«Чувствителен» к ним был и Джемс Тревенен, командир нашего гардемарина. Капитан первого ранга не таил своих мыслей. Их знали, понимали, разделяли на борту «Не тронь меня».

Письма Тревенена отчетливо передают атмосферу нетерпения и досады, которой жили в те июньские бесполезные недели на корабле «Не тронь меня».

«Шведский флот наш сполна, — писал Тревенен. — И очень скоро о нем должно остаться одно воспоминание. Но взяться за дело необходимо с большой энергией и употребить все средства... На войне бывает множество таких непредвиденных случаев, которые изменяют всевозможные обстоятельства, если ими не воспользоваться в первый же момент».

Экипажи ждали решительного финала. Ждали и на 66-пушечном «Не тронь меня». Ждал и гардемарин, разглядывая в подзорную трубу островитый выборгский берег. А на адмиральском «Ростиславе» будто вымерли. Гардемарин насупливал брови. Ох, и доставалось от Василия Головнина тезке его, Василию Чичагову.

Потомки-«прокуроры» порицали Чичагова. Русские — гневно, шведы — усмешливо. Чичагова обвиняли в малодушии. Клеймо нелестное, особенно военачальнику. Но собак вешать не велик труд. Важнее другое: современники и сослуживцы настаивали — действовать, действовать, действовать. А Василий Яковлевич так упрямо отмалчивался, что горячие головы подумывали об измене.

У старого адмирала были свои резоны. Не слишком весомые, но были. Он не хотел трясти яблоню, надеясь, что яблоки сами упадут. И потом: стесненная шведская эскадра обратилась в огромную артиллерийскую батарею, войти в залив — значило пролить ушаты крови.

Чичагову недоставало темперамента. Он «замерз» в полярных плаваниях. И не сказывались ли годы? Салтыков, сухопутный командующий, сидючи в Выборге, брюзжал на «водяного» командующего: «Лета старые сопряжены с лишиною осторожностью. Оно для себя не худо; но для дела вообще — неуспешно». Годы, конечно, «фактор». Однако Круз, ровесник Чичагова, жаждал боя, наступления, атаки.

Между тем его величество король держал совет с высшими офицерами. Поговаривали, что герцог Карл, сникнув, рекомендовал капитуляцию. Это, конечно, противоречило законам клас-

сических трагедий. Густав, драматург, топнул ногою. Он решился на бегство. Надо признать: на героическое бегство. Ничего доброго не сулил отчаянный рывок под огнем русского флота.

Шведы смотрели на флюгарки и вымпелы. Бог обязан послать ветер! И непременно северный или восточный. О, ветер, движитель кораблей, постоянный в своем непостоянстве, веселый и злой, сладостный и горький...

В ночь на 22 июня ветер удружила шведам. Было облачно, луна светила робко. В такие ночи Выборгский залив прелестен. Идешь на шлюпке, острова означаются, как замки, хвойей пахнет и остывающим камнем, летучие тени облаков, как тени фрегатов.

Не тени фрегатов, не тени кораблей — они сами двинулись по наморщенной солоноватой серой воде. Позади за коромою туманно всходило солнце.

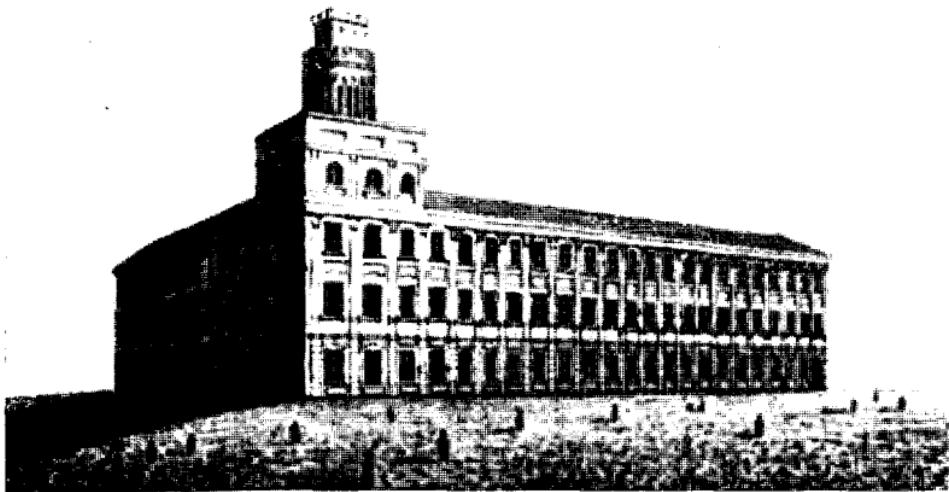
Шведы шли кильватерной колонной, друг за другом. Они не знали учения о слабом звене в цепи, но избрали для прорыва именно слабое «звено»: северный проход, закрытый лишь отрядом контр-адмирала Повалишина.

В том отряде занимал свое место и «Не тронь меня». И вот уж Василий, гардемарин, в гуще яростного сражения. В нем шведская ярость отчаяния, ярость игрока ва-банк; в нем русская ярость, ярость тех, у кого победа и добыча буквально упливают из-под носа.

Отряд Повалишина вывесил огненный заслон. Первым наступил на него 74-пушечный «Дристихетен». Он шел несколько в стороне от «Не тронь меня». Изо всей мочи бомбардировали его «Петр» и «Всеслав». Жарко приходилось капитану Пуке. Да ведь недаром определили капитана Пуке передним мателотом, недаром первым пустили: он идет, идет так близко, что хоть из пистолета пали. И «Дристихетен» прорывается. Прорывается и отстреливается. Отстреливается и уходит. И остальные близенько, гуськом, бегут за счастливцем.

Где-то вдалеке, на адмиральском «Ростиславе» еще мешкают, а тут, где Головнин, все уж кипит, как в кotle со смолою. И гардемарин уж не слышит командных возгласов, захваченный азартом бешеной свалки. Лишь на короткое мгновение его словно окатывает ледяной водой: смертельно ранен Джемс Тревенен. Но сражение не ждет, сквозь огонь и грохот проскаивают шведы, и нельзя думать о смерти, а надо думать об убийстве.

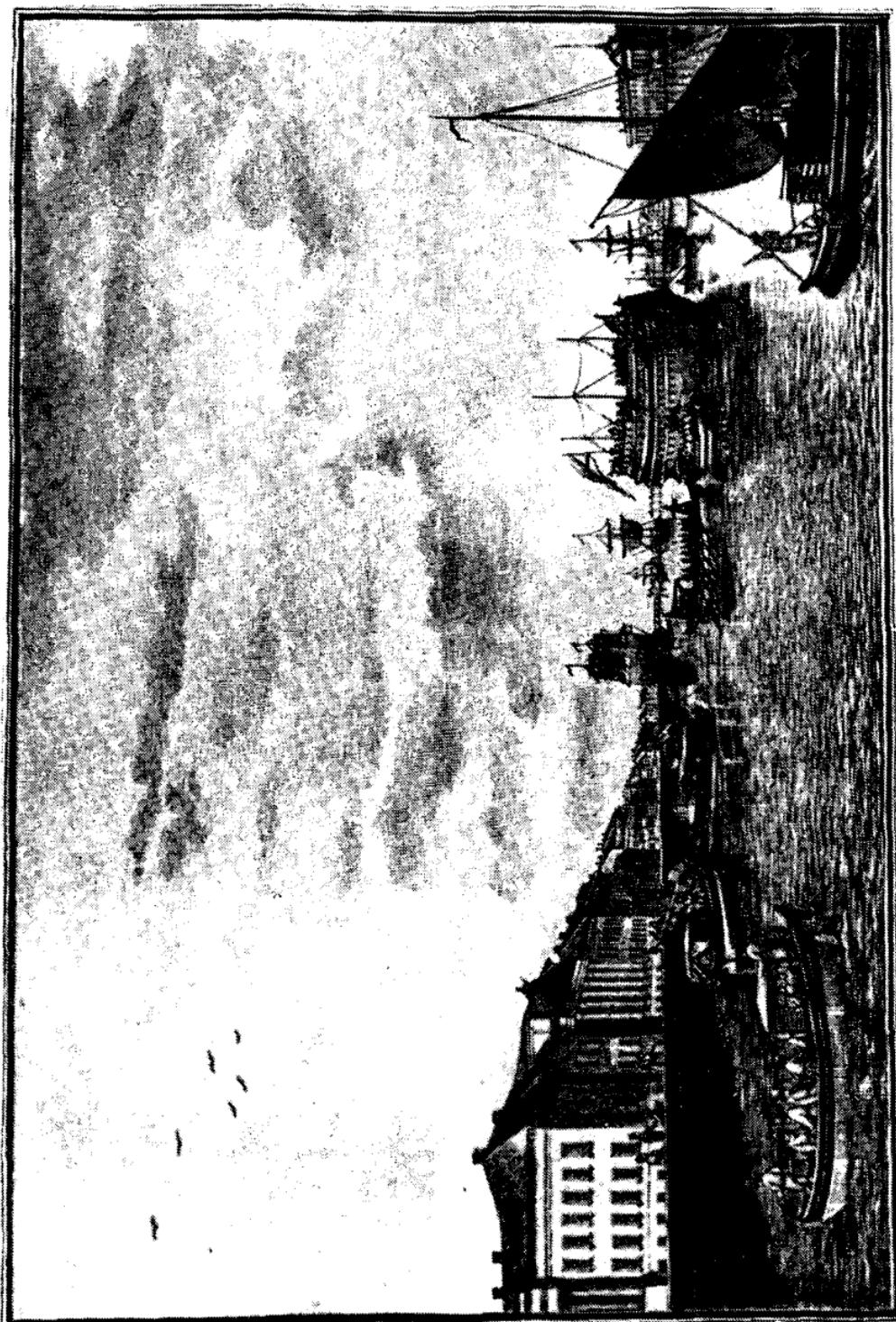
Налетают на мели, как сослепу «Гедвига-Елисабет-Карлота»



Морской кадетский корпус в Кронштадте.



Кадет  
и гренадер  
1770 г.,  
гардемарин  
1807 г.,  
(с литогра-  
фии 1852 г.).



Спуск  
корабля  
на Неве,  
Гравюра  
с рис.  
Петерсона  
(конец  
XVII в.).

и «Эмхайтен», «Ловиза-Ульрика» и «Упланд», какие-то транспортные суда, какие-то галеры. Но шведский хвост упорно вытягивается из выборгского капкана. Швед уходит, невидимый, как и русский, в густом, темном, едком пороховом дыму. А концевой корабль «Эникхетен» пылает прощальным факелом, горит и трещит, как старый дом...

Многое еще будет. Чичаговская погоня, успешное для Густава столкновение с гребной эскадрой Екатерины. Подсчеты потерь и споры. Будут и награды. За воинские победы расплачиваются мертвыми душами. Русский мужик сверх того и живыми душами. Чичагову, например, достанется 2417 крепостных. Деревеньками и землями оделит царица своих адмиралов.

Многое еще будет. Умолкнут пушки, заговорят дипломаты. Мирный трактат не прибавит и не убавит ни Российской империи, ни королевству шведскому. Последует обмен новыми любезностями между двоюродным братом и двоюродной сестрой...

А пока распогодилось.

На кораблях отпевают убитых.

## 6

Кто был в морских учебных заведениях, знает чувство горделивого превосходства, возмужания, с каким возвращаешься после палубной службы «под сень наук». И весело и неохота втискиваться в прежние рамки, как в куртку, когда раздался в плечах. От воспитателей требуется некоторое волевое напряжение, дабы прибрать к рукам безусое воинство, мнящее себя «смолеными шкурами».

Гардемарины снисходительно улыбались кадетикам. Кадетики наперебой рассказывали, как в Кронштадте с часу на час ждали вражеского десанта. Дали ружья! Выводили строем на вал! Да, да, хоть у кого спросите! Эх, канальство, то-то вздули бы шведа!

Кадет действительно выводили на утлые кронштадтские укрепления: пусть неприятель поглядит в подзорные трубы на грозную рать. И действительно, дали ружья. Да только... без курков. Но неприятель этого не разглядел бы и в дюжину труб.

Гардемарины снисходительно усмехались. Потом вздыхали: «То ли дело на море! Подойдешь на пистолетный выстрел, на адмиральском — сигнал: «Атаковать противника!» В душе, однако гардемаринам радовались Итальянскому дворцу: уж очень устали, намыкались, натерпелись страхов. И наконец-то можно спокойно спать ночь напролет.

Что гардемарины! Господа офицеры рады-радешеньки: жену приголубишь, учинишь «шумство», то бишь попойку, или, прости господи, завернешь в «пансион без древних языков», как окрестили какие-то шутники здешние публичные дома.

Вот они, «командеры», прогуливаются в славном граде. Форма для них не формула, ходи, как они говоривают, «по вольности дворянства». И ходят: в белых мундирах с цветными жилетами, с длинными золотыми цепочками, на которых побрякивают сердоликовые и халцедоновые печатки; кто в башмаках с пряжками, а кто в козловых скрипучих сапожках; у одного шейный платок алый, у другого голубой, а у третьего такой, что в глазах рябит. Позади, держа дистанцию, выступает денщик-вестовой, шпагу несет с золотым темляком (или без темляка, ежели шпага золотая, «за храбрость») и еще непременно несет белый плащ тоже, знаете ли, с золотыми кистями.

Все-то у них на свой лад, чтоб корабельщиной отдавало: коляска — «баркас»; дрожки — «шлюпка»; ставни затворить — «порты задраить»; в пенковую трубку добрую понюшку сунуть — «мушкетон зарядить».

Живописно, а? Да вот морды бить горазды эти самые «отцы милостивцы». Ничего, коли какой-нибудь болван из носу юшку пустит, на пользу! Заметим, кстати, и десятилетия спустя тоже исповедовалось, что без линька и таски простолюдин ни к дьяволу не годен. Полистайте герценовский «Колокол» — волосы дыбом. И какие имена: Лазарев, Корнилов, Нахимов, Истомин!..

Кулаки у «отцов» частенько сжимались. Но и разжимались нередко: в казенный карман «способно» было запустить загребущую длань. Продовольственные и прочие корабельные суммы оборачивались домом, мызою, жениными колечками. Тут уж не «Колокол», тут сам его высокопревосходительство Феодосий Федорович Веселаго, историограф морского ведомства, кавалер многих российских и иностранных орденов, подтверждает. А был он не только генералом и не только усердным кропотливым историком, но и цензором. Уж куда, кажется, благонамеренный господин.

Итак, гардемарины корпят в классах, офицеры вкушают отдыих, а морские чудо-богатыри тоже не зря на свете живут. Вон они по колено в холодной воде, под холодным осенним дождем хозяйственные работы работают, в доках ремонтом заняты, а у которых, смотришь, на губах иной холод — иконки (мрут в госпитале от разных болезней, больше всего от горячки).

И по-прежнему каждый день спозаранку отворяются ворота

Каторжного двора: гремя кандалами, шагают клейменные на самые что ни на есть тяжкие «гаванские работы». Среди тех каторжан — сподвижники Пугачева. Не видал Василий Головнин пугачевцев в своих Гулынках, увидел здесь, в Кронштадте. Одного из них, бородатого великана, прозванного есаулом, весь город знал: умел он свистать да гикать так, что всех боцманов собери — не пересвищут есаула. Другой был племянником Шелудякова, казака, у которого на Яике еще до восстания Емельян Иванович батрачил. Племянник этот, грамотей, когда крестьянская война огнем взялась, служил в походной канцелярии Пугачева, а теперь вот волочил проклятые железы по кронштадтской слякоти, слышал, как ухает осенняя Балтика.

Осень в Кронштадт не приходит: вламывается со всех румбов. Может, ни в какое другое время года первый по значению порт империи не смотрел таким захолустьем, как осенней порой.

При Петре что сделали, то еще худо-бедно держалось, а так-то... Ох-хо-хо... Пушки изъедены ржой, деревянные станки трухлявые. Гарнизонные солдатики — тощие, унылые, в дырявых мундирчиках болотного цвета. У крепостных ворот, в ветхой будочке какой уж год все один и тот же служивый; пропитанье свое добывал он продажей табачка-дерунка. Да и в других караулах стояли по неделям. И то сказать, зачем главного-то командира трудить разнарядкой на всякий день? Подмахнул ее субботним вечерком — да с колокольни долой. И говорили про некоего бессменного заплесневевшего стражи: «А Прохору Лежневу быть по-прежнему».

В окна казарм дождь бьет, а окна не слезятся — там и сям вместо стекол вощеная бумага. На улицах, как на проселке, чмокает. Над крышами сизый дым изорван в клочья. Со второго и третьего этажей Итальянского дворца скучно глядеть на опустевшие, исчерканные грязным баражком кронштадтские рейды.

Головнин в ученье не только успевал, но и преуспевал. Во всем его жизненном деле, как и во внешнем облике, усматриваешь кряжистую основательность. Шалопайничать не приходилось. Один как перст. И надежда лишь на себя. Все это глушило отраду отечества. Но и лепило натуру твердую, устойчивую. Итальянский дворец, Кронштадт, Балтика очерчивали тот круг, в котором пребывал он до девяносто третьего года.

В девяносто втором состоялся очередной выпуск из корпуса. По числу баллов Головнин занял второе место. По чис-

лу годов — последнее: ему еще и семнадцати не стукнуло Однокашники надели мичманские мундиры. Василию «за малолетством» в мундире отказали. Самолюбие его страдало.

Нет худа без добра — пословица для несчастливцев. И все-таки «добро» отыскалось. Не потому, что сделали унтер-офицером и тем повысили годовое жалованье вчетверо, до двадцати четырех рублей серебром. Нет, в другом.

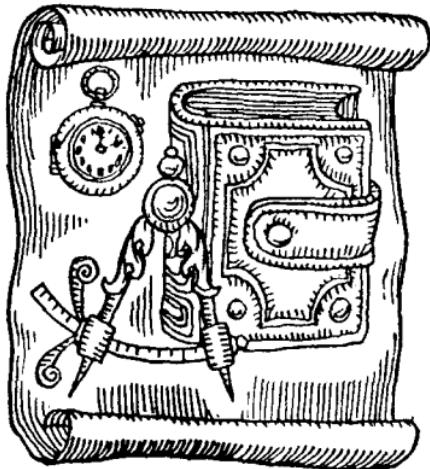
Корпусный профессор Никитин взялся (помимо математики) учить доброхотов английскому языку. О пользе знания иностранных языков произнес Никитин речь «сильную и убедительную», как отмечает Головнин. Василий зажегся. Терпения у него достало бы и на полроты. Обнаружились и лингвистические способности. Он быстро продвигался в шхерах грамматик и лексиконов.

И тогда же, в последний год, прожитый под кровлей Меншикова дворца, завладела Василием страсть к путешествиям. Эта душевная потребность никогда уж не угаснет в нем. Будет постоянной. Как пассаты. Как глубинные течения.

Есть стихотворение в прозе «Гавань», напоминающее приморский осенний закат. Шарль Бодлер воспел редкостное аристократическое наслаждение усталого человека. Человек этот созерцает ритм и красоту гавани, вечное движение волн и кораблей, вечное движение отплывающих и приплывающих. Лирический герой Бодлера невраждебно противостоит тем, «в ком еще сохранилась воля жить, стремление путешествовать или обогащаться».

«Воля жить» сливалась у Головнина со «стремлением путешествовать». Обогащение исключалось, коммерческих удач он не искал. Говоря романтически, ветер странствий полнил паруса его судьбы. И дунул сильным порывом после святок 1793 года: 19 января Адмиралтейская коллегия приказала сержанта Василия Головнина «выключить из корпуса произвестить в мичманы».

Уже облаченный в белый мундир, он снимал круглую шляпу в адмиральских прихожих и, по тогдашнему обыкновению, смиленно благодарил начальство, обещая служить по долгу чести и присяги.



## Глава вторая

1

В тот же январский день, когда Адмиралтейская коллегия решила участь Головнина, Конвент решил участь Людовика XVI. А в тот январский день, когда мичман отвешивал начальству благодарственные поклоны, бывший король Франции склонился на эшафоте.

Имеет каждый век полосы штилевые и полосы штормовые. Головнин начал офицерскую службу в конце XVIII века. Конец XVIII века начался ураганно.

Расширенный зрачок мира вперился во Францию. Можно было ненавидеть ее, можно было восторгаться ею. Невозможно было не замечать ее. Стратегические движения на континенте, будь то движение мысли или полков, определялись Францией, соотносились с Францией.

Все вдруг словно бы пустилось в чудовищный круговорот. Басили пушки. Возникали и распадались коалиции. Согласно правилу — соседи враги злобные — соседка Франции, там, за Ла-Маншем, подкупала одних союзников, пугала других, уговаривала третьих. Четвертых она покупала, пугала и уговаривала.

Марс улыбался французам, Нептун — англичанам. По слову Меринга, то была борьба льва с акулой. Но от этой схватки зависела жизнь сотен тысяч вовсе не помышлявших ни о величии Франции, ни о могуществе Англии. Борьба была столь же долгой, сколь и жестокой. История — цирюльник: она умеет «открывать кровь».

Короткий удар гильотины по Людовику XVI отозвался длиной и мучительной судорогой — от престола к престолу. Молодящаяся петербургская мадам «слегла в постель и больна,

и печальна». Вскоре младший брат казненного граф д'Артуа получил от государыни шлагу. На ней сияло: «С богом за короля», в рукоятке переливался крупный бриллиант. Еще крупнее была сумма наличными — миллион золотом. Императрица заверяла родственников Людовика: «Я намерена содействовать успеху ваших дел».

Однако эмоции, как и интимности, Екатерина не смешивала с политикой. Успеху «ваших» дел она всегда предпочитала успех «наших» дел. А «наши» дела вершились не на Сене, а на Висле. Три венценосца — австрийский, прусский, российский — делили несчастную Польшу. Хилый человек с железным характером пошел на Варшаву; он взял Варшаву, генерал-аншеф Суворов стал генерал-фельдмаршалом... Озабоченная дележкой польского пирога, «матушка» придержала сухопутную армию близ собственных границ. Зато на море она таки посодила «акуле».

Головнин уже сделал две кампании, побывал в Стокгольме (теперь дружественном), перезимовал в Кронштадте, когда настал и его черед участвовать в большом европейском кровопускании.

В Англию отрядили эскадру вице-адмирала Ханыкова. Петр Иванович, отменный мореход, имел репутацию сметливого дипломата. На Ханыкова, надо думать, выбор пал не без умысла: когда играешь в паре с Альбионом, гляди в оба, как бы не объегорил.

Перед отплытием эскадру посетили царицыны внуки, будущий император Александр и Константин. Высочайшие особы «дают указания», или, как иногда смягчают официальные известия, «советуют». Чего там наговорили великие князья Ханыкову, бог весть. На том мерси, что не мытарили своим присутствием: поглазели, как матросики взбегают на ванты и кричат «ура», да и отбыли, провожаемые салютом и вздохами облегчения.

Мичман Головнин часть похода совершил на фрегате «Рафаил», часть — на «Пимене». Там же, на «Пимене», обретался и его корпсунский приятель Петр Рикорд. Еще не раз, не два доведется нам встречать Рикорда об руку с Головниным. А сейчас, летом 1795 года, мичманы, как десятки их сверстников и погодков, выполняют свои не очень-то громкие обязанности.

А их капитаны продолжают «патриархальное» бытие. Как под кронштадтскими кровлями: «по вольности дворянства». Уже упомянутые записки Сенявина, живые, бойкие, усмешливые, запечатлели и облик командира корабля екатерининской поры.

«Время проводил он каждый день почти одинаково. Поутру вставал в 6 час., пил две чашки чаю, а третью с прибавлением рома или несколько лимона (что называлось тогда «адвокат»), потом, причесавши голову и завивши из своих волос длинную косу, надевал колпак, на шею повязывал розовый платок, потом надевал форменный белый сюртук, и всегда почти в туфлях, вышитых золотом торжковой работы. В 8 час. в этом наряде выходил на шканцы и очень скоро опять возвращался в каюту. В 10 час. всегда был на молитве, после полудня тотчас обедал, а после обеда раздевался до рубашки и ложился спать. (Это называлось не спать, а отдыхать.) Чтоб скорее и приятнее заснуть, старики имели странную на то привычку: заставляли искать себе в голове или рассказывать сказки... Соснувшись час, другой, а иногда и третий — вставал, одевался снова точно так, как был одет поутру, только на место сюртука надевал белый байковый халат с подпояскою, пил кофе, потом чай таким же манером, как поутру. Около 6 час. приходил в кают-компанию, сядет за стол и сделает банк рубль медных денег. Тут мы, мичмана, пустимся рвать, если один банк не устоит — князь делает другой и третий, а потом оставляет играть, говоря: «нечастие»; а когда выигрывает, то играет до 8 и 9 час., потом перестает, уходит в свою каюту ужинать и в 10 час. ложился спать. Во время сна его никто не смей разбудить, чтобы такое не случилось».

Ото всего этого шафранно веет Афанасием Ивановичем. Недостает только Пульхерии Ивановны. Разумеется, Сенявин описывает будни мирного похода. Однако же похода, а не якорной стоянки. Трудно вообразить меньшую ревность к службе и большую халатность. Следует, очевидно, думать, что дело держалось на офицерах и матросах. На офицерах, стремившихся поскорее стать капитанами. И на матросах, стремившихся не стать предметом экзекуции.

Впрочем, командиры ханыковской эскадры не так уж часто видели золотые сны или зеленое сукно. Нелегкое плавание досталось им.

И вот почему.

На исходе июля русские вымпелы вились под небом Англии. Ханыков расположился на рейде Доусона, близ эскадры адмирала Дункана. Тот командовал флотом Северного моря. Задача заключалась в блокаде острова Тексель, где базировался союзный французам голландский флот. Русское Адмиралтейство обещалось решать эту задачу совместно с английским Адмиралтейством.

Все ясно как день. Но день не был ясен. Северное море не

погодами славится, а погодливостью. Балтика уже изрядно по-трепала русских, море Северное дурило еще хлеще. Редкий из кораблей Ханыкова был облит медью. Они обросли «бородами» из водорослей. С эдакой шевелюрой скверный ты ходок! А сэр Дункан гнет свое: господин вице-адмирал Ханыков должен лечь курсом на Тексель.

В крейсерстве эскадра находилась ровно месяц. И ровно месяц экипажи не знали роздыха. Толчая и зыбь, шквалы и штормы обнаружили в ханыковских кораблях такое «обстоятельство», на которое согласно жаловались и офицеры и дипломаты.

«Чуть буря — полвахты у помп; все скрипит, все расходитя. Бывало, весь корабль, чтобы, так сказать, не развалился, стянут найтовами<sup>1</sup> и, отливая воду во все помпы, все-таки держатся в крейсерстве до срока, тянутся за гордыми британцами. Когда после того чинились в доках, то их моряки не могли надивиться смелости русских, уверяя, что «за сто гиней» — вы знаете это пес plus ultra английского соблазна — «не принудили бы их служить на таких кораблях».

Об этом и сорок лет спустя помнил соратник Головнина. Горькую правду поведал он в журнале «Маяк». Его поддерживают и другие свидетели. Хотя бы вот русский посол в Лондоне граф Воронцов.

«Все здешние адмиралы и офицеры удивляются храбрости и решимости наших офицеров за смелость, с каковою они плавают по морю в самые жесточайшие бури на судах толь худого состояния, и клянутся, что ни один из них не отважился бы взять на себя командовать толь гнилыми и рассыпающимися кораблями... Болты, употребляемые для скрепления, вместо того чтобы проходить насквозь, доходят только до половины брусьев, и потом как-то их залаживают так, что с первого взгляда кажется, все сделано по-надлежащему, но во время качки таковые крепления ни к чему не служат».

«Как-то их залаживают так...» — знакомый, право, звук! Черт возьми, «показуха»-то, оказывается, не вчера родилась. А в удивлении иностранцев мужеством союзников слышится еще и снисходительное презрение: вот, дескать, до чего доходит безропотное послушание. Не то ли самое «пассивное мужество», о котором говорил Энгельс применительно к николаевским солдатам, защищавшим Севастополь?

Бедовали моряки и в портах. Принимая русских, Англия не принимала никаких обязательств, кроме чисто военных. До-

<sup>1</sup> Найтovить — связывать, укреплять тросом несколько предметов. Трос при таком способе вязки называют «найтов».

роговизна и низкий курс рубля были причиною «крайней нужды» эскадры. Во всеподданнейшем донесении Ханыков сетует, что офицеры «имеют весьма недостаточные порционные деньги, а именно: 8 руб. 25 коп. в месяц». Офицеры! О матросах ни полсловечка.

Матросов на эскадре числилось около десяти тысяч. Колossalным напряжением физических и душевных сил калужских, тамбовских, рязанских, новгородских, московских мужиков корабли ее величества блокировали остров Тексель, пугая голландцев и французов. Именно они-то, мужики эти, чуть ли не голодали.

Петр когда-то повелел доставлять провизию в бочонках. Подрядчики-купцы доставляли ее в рогожных кулях. Рогожа прела, крупа и мука гнили. Солонина воняла, треска тоже не ласкала обоняние. Прибавьте крыс и тех насекомых, которых один современник не без юмора именовал «беспокойными».

Мне не попадались списки больных и умерших. Известно, однако, что на кораблях дальнего плавания их считали десятками. Лекари искусством не блистали. Хворые жили среди здоровых, распространяя заразу. Когда Ханыков завершил первую кампанию, первое крейсерство, пришлось назначить специальный фрегат («Рафаил», где нес свой крест мичман Головнин) для доставки больных на английское госпитальное судно.

Словом, попала эскадра в «рай». Люди не чаяли, как поскорее унести ноги. В Кронштадте тоже не розы? Верно. А все ж дома и стены помогают. Но англичане не торопились прощаться с балтийцами.

Генерал-поручика графа Воронцова осаждали и глава Адмиралтейства Спенсер, и министр иностранных дел Гренвиль, и другие сановники. Забывая традиционную сдержанность, они хором нахваливали русских флагманов, капитанов, офицеров. Графа Семена Романовича нельзя было провести на мякине комплиментов. Да суть-то в том, что граф справедливо слыл завзятым англофилом. Его ненависть к французской революции равнялась ненависти Уильяма Виндгама Гренвилля. И российский министр при лондонском дворе «пошел навстречу пожеланиям»... Не дожидаясь ответа из Петербурга, веря в согласие императрицы, Воронцов задержал эскадру Ханыкова в Северном море. Граф, впрочем, оговорил, что пропитание личного состава и оплату доковых работ возьмет на себя «британская корона».

Стояли бурные лохматые дни, дождливые и непроглядные ночи. Те дни и ночи как на зуб пробовали каждого служителя моря. Тяжелая, однообразная, будничная работа. Командные

возгласы, свистки боцмана. Скрип и стоны корабля, сломанные реи, изорванный парус. Сшибок с неприятелем не было, голландцы отсиживались на Текселе. Не было ни азарта, ни хмеля сражений. Были крейсерство, сторожевая служба, тяжелая, будничная, однообразная работа.

К тому же район действий отличался капризной своеобычливостью: прибрежья в отмелях и банках, течения переменчивые, неправильные, приливы и отливы сильные, гневливые. Астрономически определяться было затруднительно. Приходилось часто бросать лот, брать грунт — по глубинам и качеству грунта угадывать местоположение. Отгадчиками были лоцманы, выросшие на рыбачьих шхунах. Ни одно английское судно без них не обходилось; не обошлись и русские.

И так несколько лет кряду. Так на «Пимене», на «Рафайле», на «Елизавете». Так на каждом корабле, где служил Головнин и его товарищи, вчерашние гардемаринсы.

## 2

Эскадру, как и телегу, готовят зимой. Зимней порою корабли Ханыкова чинили в доках. Исправляли самое необходимое, «очевидную худость»: британская корона не щедротного нрава.

От скверных хозяев русские моряки получали русскую парусину и русский строевой лес, русский поташ и русский деготь. Здесь, за границей, все это оказывалось отменного качества. Дома поставщики зачастую сбывали лежалый товарец: свой брат, известно, и гнильцо слопает. А импорт — иная статья. Тут изволь-ка, чтоб и комар носа не подточил. Архангельск, Рига, Петербург отгружали за море прекрасные дубовые брусья, доски обшивные без сучка и задоринки, парусину из первосортного льна.

Англичанин, современник Головнина, признавался: «Импорт из России совершенно необходим для строительства и оснащения английского флота... Наши суда снабжены отличными парусами и канатами из русской пеньки... Наши лучшие в мире якоря сделаны из русского металла...»

Однако коль скоро дело касалось не британских кораблей, а русских, союзных, то адмирал Ханыков не слишком-то полагался на добрую совесть местных мастеров. Нужен был «свой глаз». Из Петербурга прислали Амосова.

Амосовы издавна гнездились близ студеной Северной Двины. Некогда ладили ладьи, некогда шили шитики. Потом спускали на воду многопушечные громады.

Когда Васю Головнина определили в Морской корпус, Ваню Амосова определили в ученье к англичанам. Когда Василия Головнина произвели в мичманы, Ивана Амосова определили в корабельные подмастерья. И вот теперь, двадцатичетырехлетним мастером, он вновь явился в Англию — не учиться, а помогать соотечественникам.

Зимою можно было присмотреться к Англии. Головнин увидел Ширнесс и Диль, Нор и Литт. Увидел и Лондон. Вот они, плоды морской походной службы: горизонт ширится, новизна предстает на ощупь, разность с домашностью задает работу уму. Особенно в стране, повитой не только тривиальным туманом, но и острым угольным дымом.

Интересно бы разобрать соотношение общественных сил в Англии конца XVIII века, да боязно сбиться с «главного фарватера» повествования. Однако как же не помянуть о том, что происходило бок о бок с Головнином?

Взрывы судовых мятежей метят анналы британского флота; гроздья бунтовщиков, раскачивающихся на реях, — «пейзаж» для него нередкий. Но Головнин наблюдал нечто совершенно необычное: высокий и мощный мятежный вал, всплеск красных флагов. Восстали оба флота — флот Ла-Манша (адмирал Бридпорт) и флот Северного моря (адмирал Дункан).

Тут сперва надо вот что отметить. Российская рекрутчина никому, конечно, не казалась медом. Рекрутов оплакивали как покойников. Оплакивая, полагали рекрутчину неизбывной, как прочие повинности. Англия рекрутчины не знала. Она знала кое-что похлеще. Адмиралтейство объявляло вербовку во флот; исполнительная власть вербовку осуществляла. Рослые констебли прочесывали городские трущобы. «Гордых бриттов» волокли волоком, и отчество, добная старая Англия получала новую порцию защитников. И притом пожизненных. (Лишь в 1835 году срок матросской службы сократили до пяти лет.)

Галера и каторга — синонимы, матрос и раб тоже. Английский флот (и это, говоря откровенно, очень нравилось многим русским офицерам) походил на огромную плавучую тюрьму. На глазах Головнина плавучая тюрьма решительно и быстро обратилась в плавучую республику. Ее осеняли красные стяги. Ее населяли предтечи потемкинцев.

Восставшие требовали смягчения варварских наказаний<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Примечательно: «Недавно, — сообщает американский журнал «Тайм», — британский флот отменил традиционное избиение палкой юных матросов после того, как парламентское расследование показало, что только за один год были жестоко наказаны 69 матросов, не достигших восемнадцатилетнего возраста». Палка и ремень как традиция. «Правда», 14 сентября 1967 г.

изгнания офицеров-иродов, регулярности увольнения на берег, увеличения нищенского содержания... На кораблях возникли матросские комитеты. Делегаты — по двое от каждой боевой единицы — обсуждали свои действия. В Ширнессе матросы устроили уличные шествия, братались с солдатами. Правительство первым делом лишило бунтовщиков продовольствия. Восставшим, понятно, не хотелось пухнуть с голоду, они блокировали Темзу, опустошали суда, следующие в Лондон или из Лондона.

Темза была закупорена, восточное побережье — оголено. Де Винтеру, голландскому адмиралу, ничего не стоило оставить постылый Тексель и грянуть десантом. Такую же возможность получили и французы.

Граф Воронцов хватался за голову: «Англия еще не была никогда в толь стесненном и жалостном состоянии». Эдмунд Борк, известный оратор и государственный деятель, сокрушался: «Это хуже того, что может присниться в кошмарном сне».

Правительство Питта сознавало отчаянность ситуации. Лорды унизились до переговоров с мятежниками. Министр Гренвиль молил Петербург не забирать русскую эскадру и тем оказать «Англии самую крупную из услуг, которые она когда-либо получала от какого-нибудь народа и государства». Лорда Гренвеля горячо поддерживал граф Семен Романович. Он не навидел пугачевцев независимо от того, как их звали — Иванами или Джонами.

Иваны оказались свидетелями восстания Джонов. Однако свидетелями безмолвными. Какие чувства владели русскими матросами? Недоумения или затаенного восторга? Недоброжелательства или товарищества, хотя бы и скрытого? Я не располагаю никакими показаниями. Глухая стена, ни единого луча. Но еще Бакуниным подмеченная «потребность бунта», несомненно, очнулась, не могла не очнуться при виде матросской вольницы, при виде народных толп, взыскиющих хлеба и мира, при повсеместных толках об улучшениях и послаблениях. К тому же английские матросы клялись, что они не королю противники, а плохим лордам Адмиралтейства, плохим командирам. Этот «наивный монархизм» был по сердцу русскому матросу.

Ну, а Головнин, а другие офицеры? Можно наслаждаться Вольтером, читать и читать энциклопедистов, можно, наконец, пожалеть простолюдина, но мятеж, но красный флаг, но свист и хохот черни — помилуй бог!..

Даже полвека спустя английский историк флота Клеймил восстание 1796—1797 годов «постыдным делом», аплодировал

его усмирителям, тем, кто вешал, избивал, бросал в темницы.

Русские по настоянию Воронцова выручили адмирала Дункана. Тот остался у Текселя лишь с двумя «верными» кораблями. Сэр Адам схитрил: крейсируя на виду у неприятеля, палил из сигнальной пушки и поднимал соответствующие сигналы, будто бы командуя эскадрой, которая вот-вот обрисуется на мглистом горизонте. Уловка удалась: голландцы сидели тише мышей, хотя кот все еще не показывался.

«Котом» была эскадра контр-адмирала Макарова, младшего флагмана вице-адмирала Ханыкова. А у младшего флагмана в 1798—1800 годах флаг-офицером был мичман Василий Головнин.

Флаг-офицер — это вам уже не ютовый или баковый мичман. Это уже персона, должность нешуточная. И почетная. Тут редко без протекции обходилось. Головнин, помните, протекций не имел. Сам Михаил Кондратьевич Макаров приметил его и приветил.

В старых наставлениях подчеркивается: флаг-офицер должен обладать «полными и точными сведениями по всем частям корабельного управления и мореплавания», ибо он «прямой помощник адмирала». Головнин сверх того владел английским. Корпусный профессор Никитин недаром зажег в нем лингвистическую страсть. А пребывание в Англии дало практику.

Впрочем, не только языковую. И не только Головнину.

Прямых столкновений с неприятелем в Северном море не произошло. Сомневаюсь, чтоб об этом кто-нибудь особенно сожалел. Если швед грозил Петербургу, то голландец и не помышлял грозить. И дело здесь не в боевой практике, а в мореходной.

«...Соединение наше с англичанами, — признавал Ханыков, — было нам полезно, ибо люди наши, ревнуя проворству и расторопности англичан и стараясь не уступать им... столько изоштились, что то, что у нас прежде делалось в 10 или 12 минут, ныне делают они в 3 или 4 минуты».

Признание адмирала подпирает сослуживец Головнина, автор мемуарного очерка «Старина морская и заморская»:

«Любимая команда вахтенного, «лихого» лейтенанта при навертывании шпиля была: «Шуми, ребята, шуми!» И нечего сказать, шумели всем миром преусердно. Тогда только, как побывали в Англии, узнали истинную прелесть — сняться и чтоб «ни гугу». Изредка нептунно-державный голос лейтенанта и дудочка боцмана; а при шпиле — барабан и флейточка. Переняли тотчас, за этим у нас не станет».

Какое откровенное, бесхитростное осознание способности перенять, позаимствовать! Отчего же и нет, если здраво или здорово?..

Пока балтийцы крейсировали невдалеке от дюн, мельниц и фортов острова Тексель, в Петербурге приказала долго жить Екатерина. Павел Первый ринулся царствовать, как любовник, заждавшийся обожаемой дамы. Но он сознавал — время упущено: сорок два от роду. Павла лихорадило. Он был порывист. А в политике, как и в любви, торопливость никого по-настоящему не удовлетворяет.

Последовал каскад непоследовательностей. Противник многих екатерининских идей, Павел не идеи им противопоставил, а попросту гнал матушкиных наперсников. Екатерину он не навидел. Он натерпелся страхов и от нее и от временщиков. Теперь он валил валом, без плана, руководясь личной ненавистью к предшественнице.

Павел намеревался водворить строгую законность. (Бедняга искренне полагал, что оная в России возможна.) Вместо строгой законности водворилась совсем уж чудовищная канцелярщина.

Павлу претили сибариты из офицерского корпуса. Он ничего лучшего не выдумал, как внедрить прусскую шагистику.

Гатчинский «полководец» мнил себя и флотоводцем. Еще бы: восьмилетним он был пожалован в генерал-адмиралы. Наставником при нем долго обретался Голенищев-Кутузов. Тот самый, что ради Павлуши осиротил кронштадтских гардемаринов.

Павел взялся и за флот. Новшества были «крупного» калибра: все эти шлафрюки и козловые полусапожки объявлены преступлением; изменились кое-какие флаги; коротенькая отлучка из Кронштадта требовала высочайшего «да»; лебедино-белый мундир уступил место мундиру болотного цвета, золотой темляк на шпагах — темляку серебряному...

И наконец — «Устав военного флота». (Прежний, петровский сдавался в архив.) Справедливости ради нечего хаять его от корки до корки. Просвещенный Голенищев пользовался давним расположением государя. Должно быть, именно Голенищеву удалось склонить императора, не склонного к наукам, утвердить должности историографа флота, профессора астрономии и навигации, рисовального мастера... И все-таки нигде, кажется, павловская мания всеобщей и оглушительной регламентации не выказалась с такой подавляющей мрачной силой, как в «Уставе».

Петр — «и мореплаватель и плотник» — знал корабель-

ную службу не только книжно. Павловцы высидали свой «Устав» в кабинете. Их заботила не стройная совокупность дела, называвшегося военно-морским, а желание предусмотреть все и всяческие случайности, которых так много и которые так разнообразны на море. И они предусматривали, предусматривали, предусматривали...

Разбойника Прокруста убил Тесей. «Устав» убила флотская обыденщина. Он действовал недолго, как и Павел. От него отделались под сурдинку, как и от Павла. И продолжали служить по заветам основателя регулярного флота.

Но это случилось потом.

Теперь же, в семьсот девяносто седьмом, когда Василий Головнин видел июньское небо и слышал отрывистые вскрики голубоватых чаек Северного моря, теперь «Устав военного флота» был испечен, теперь надобно было шить темно-зеленый мундир и перекрашивать борта кораблей из желтого цвета в унылый серый.

Впрочем, на портных и маляров времени недостало. Еще в апреле царь повелел «следовать в Финский залив». На бумаге прыгала своеручная добавка Павла: «Старайтесь соединиться со мною в море близ Ревеля, а не прежде, и для того лучше попозже вытить из английских портов, дабы быть ко мне круг 10-го или 15-го июля».

Это вот «лучше попозже вытить» позволило Воронцову задержать эскадру в заграничных водах и тем самым выручить друзей-англичан. Что же до государева приказа, то его продиктовали два соображения. Одно общее, другое частное. Во-первых, царь порывался махом пресечь походы и экспедиции, затеянные маменькой. Во-вторых, он жаждал великолепного вахт-парада: весь Балтийский флот под императорским штандартом.

В середине июня контр-адмирал Макаров салютовал опечаленному Дункану и, с завидной точностью все рассчитав, явился в Балтийское море. У острова Гогланд встретил он российский флот. Павел остался «много доволен» как исполнительностью верных подданных, так и похвальными аттестациями, полученными ими от английского Адмиралтейства.

«Отдохновение», задуманное Павлом, не было долгим. И быть не могло. Помазанники божии, говорили астрологи, не зависят от расположения звезд. Это верно. Они зависят от «расположения» дел земных. А дела земные — бесконечное перекрецивание бесчисленных сил, порождающих исторические события, — складывались тревожно.

Французы секретно готовили какую-то экспедицию (будущую Египетскую экспедицию). В прелестной итальянской де-

ревушке Кампо-Формио побитые австрийцы подписывали мирные условия с удачливым генералом Бонапартом. Потом распространялись слухи, что Бонапарт нападет на Англию. Из Константинополя доходили в Петербург пугающие известия: «В цареградском адмиралтействе много французов». Старик фельдмаршал бормотал под нос: «Помилуй бог... широко мальчик шагает... Пора, пора унять его!» Суворов разумел корсиканца, когда-то просившегося под русское знамя<sup>1</sup>.

Вознеся молитву своему патрону архангелу Михаилу, император Павел весною 1798 года поручил Николаю-угоднику, патрону плавающих, озабочиться судьбою черноморцев и балтийцев. Эскадра вице-адмирала Ушакова отправлялась в поход через Босфор и Дарданеллы; эскадра вице-адмирала Макарова — к уже знакомым ей берегам Голландии.

О, если б Головнин был «приписан» к Севастополю, а не к Кронштадту! Он бы тогда участвовал в знаменитых баталиях, а не мыкался близ Текселя, не возил бы десант генерала Германа, угодившего в плен. Об этих тусклых, как осенние дожди, кампаниях рассказывать, право, неохота.

Да и Головнину давно прискутило Северное море. Домой он явился лейтенантом в последний год восемнадцатого века. И обрадовался нерадостному Кронштадту.

### 3

Восьмерых лейтенантов и четырех мичманов назначили волонтерами. Волонтер, назначенный в волонтеры? Курьезно, как недобровольный доброволец. Но все двенадцать смотрели весело. Им завидовали кронштадтцы. Головнин, Рикорд, Миницкий, Бутаков, Давыдов, Коростовцев и другие, входившие в число «дальновояжных», скорехонько собрались в путь-дорогу.

Прошлой весною заговорщики заткнули сиплую глотку Павла, и многие в России перевели дух. Ныне, в восемьсот втором, Амьенский договор заткнул жерла пушек, и народы Европы перевели дух. Наступила тишина. Обманчивая и краткая, но это узнают год спустя. Сейчас всем хочется верить в длительность мира, в общее благоденствие.

<sup>1</sup> Этот любопытный эпизод привел Георгий Шторм в книге «Страницы морской славы» (М., 1954). В 1789 году поручик Бонапарт предложил свою шпагу генералу Зборовскому, вербовавшему на Корсике волонтеров. Вербовщик принимал чужеземцев чином менее того, который они уже имели. Пылкий поручик отверг «разжалование». Можно гадать, «широко» ли зашагал бы он в русской армии, но нечего сомневаться, что Франция и без Бонапарта обзавелась бы наполеоном: всегда на закатах буржуазных революций об этом заботится мачеха-история.

Верили и волонтеры, направляясь в Англию. Не воевать — мир, мир! — совершенствовать морские познания, увидеть в далеких походах широкий, вольный божий свет.

Русский волонтер не волонтер в точном значении термина. Волонтерство предполагает своеокощтное содержание, Головнина и других деньгами ссужало морское министерство.

Они не были первыми. Почин сделал Петр; Екатерина II продолжила; Павел не допускал заграничное ученье, Александр I возобновил его. Из волонтеров екатерининского времени вышло немало отменных мореходов. Один же из них, капитан-лейтенант Семен Великий, «известный по своему быстрому служебному продвижению» (цитирую историка царского флота), так волонтером и помер где-то на Антильских островах...<sup>1</sup>

Без приключений, торной дорогой, Головнин, пассажир коммерческого судна, добрался до Лондона. Теперь уж не залетным мичманом-торопыгой мог он приглядеться к бурной жизни города-великана.

Передо мною семнадцать длинных писем. Безымянный автор рисует «картину лондонских нравов» той поры, когда Головнин очутился на берегах Темзы. Письма приперчены сарказмом, стиль их тяжеловесен. Однако в самой этой тяжеловесности есть старомодная прелесть.

«Нет, статья может, в целом свете места, где бы все, служащее к выгоде жизненной и роскоши, столь легко иметь можно было, как здесь; ибо пространная торговля англичан делает город сей средоточием, к которому сокровища природы и искусства, разным странам света свойственные, стекаются.

Все, чего только утонченное сластолюбие пожелать может, найдет здесь за деньги; но, несмотря на сие, можно, думаю я, утвердить, что нет в Европе другого большого города, где бы меньше здешнего известно было истинное наслаждение жизни. Всем жертвуется здесь самой грубой чувственности, и разум по большей части остается тощ при всяком празднике нынешних лондонских жителей.

Войдите в состояние иностранца, который, приехав недавно в Лондон и будучи рекомендован знатному человеку, приглашается к нему на обед. В назначенное время стучится он у дверей своего гостеприимца и в веселом ожидании входит

<sup>1</sup> Целомудренный историк не объяснил прыткость карьеры капитан-лейтенанта. А дело простое. Семена Великого прижил Павел, еще будучи наследником, от С. Ф. Чарторыйской. В 1794 году С. Великий плавал в Карибском море на английском корабле «Вангард». Обстоятельства его смерти мне неизвестны.

в переднюю. Слуга спрашивает его об имени и бежит докладывать.

Наконец появляется вожделенный хозяин, выступая важными шагами с видом самоудовольствия. Он встречает героя нашего полупоклоном, который наполняет его неудовольствием и досадою. Всею душою желает он быть на сей раз дома и сетует на глупость, ободрившую его войти в собрание наряженных истуканов, где не может он выговорить ни одного разумного слова без того, чтобы не глядели на него, как будто бы на какое заморское чудо.

Напоследок в утешение его приходит радостная весть, что на стол подано. Великий ядения подвиг начинается. В немногие минуты глубокая тишина во всем столе воцаряется; не слышно ничего, кроме движения прислужников, кроме стука вилок и ножей, и никакие шутки, смех и веселые разговоры не занимают праздного времени, между переменами яств остающегося.

По двучасном беспрерывном молчании желудки наполнены, кушанья уносятся, появляются сокровища садов и оранжерей. Тут начинает ходить вокруг стекляница<sup>1</sup>, и в минуту мертвая тишина, до сего царствующая, исчезает. Глухие начинают слышать, немые получают дар слова. Взоры забвенною чужестранца уясняются, он начинает согреваться, поглядывает лукаво на любезных нимф, в конце стола сидящих, и делает планы подойти к ним поближе, как вдруг хозяйка дому встает, приводит все общество в движение и купно с дочерьми выходит важно из комнаты.

Теперь новое страшное позорище представляется глазам обманувшегося чужестранца: застольные товарищи его, по удалении женщин, снимают с себя личины и появляются в природном своем характере. Вдруг обретает он себя в сообществе необузданных питухов, и едва верит своим ушам, слыша, с каким бесстыдством и нескромностью говорят они о подвигах своих в службе Венеры и все законы благопристойности и добронравия безбоязненно презирают; или, когда разговор их обратится к политике, характер чужестранных народов злоречием своим оскорбляют, и без всякой присутствию чужестранца понаровки уязвляют отечество его стрелами площадного своего остроумия».

(Наш лейтенант вряд ли запасся рекомендациями к «напряженным истуканам». Головнин брал уроки у математика, за уроки платил, и баста. Он хаживал к мастерам навигации или

<sup>1</sup> Небольшая бутылка.

к знакомым офицерам из эскадры Дункана, но то уж было гостеванье совсем на иной лад. А если и занесло его однажды к питухам, значит, получил урок: знай, с кем водиться.)

«В Англии и в Лондоне видел я, что как у знатных, так и у простолюдинов, кроме самой низкой черни, царствует чистота, которой ни в какой другой стране Европы не найдешь в столь высшей степени. Есть ли по наружному виду восточной части Лондона, где все улицы тесны и дома почти дочерна закопчены дымом каменного угля, станешь судить о качестве жилищ и образе жизни обывателей, то преневыгодное об опрятности их получишь понятие. Однако ж большая часть сих столь нечистых кажущихся домов, начиная с кухни, которая обыкновенно строится под землею, до самого чердака крайне, но не в такой насильственной степени, как то водится у голландцев, чисты; а платье, белье и всякая посуда, словом, все, что только у них ни увидишь, отличается превосходной белизною.

Жилые покои, сени и настилки из камня, перед домами для пеших сделанные, каждое утро на рассвете моются и рачительно выметаются; а кухню и крыльцо моют по меньшей мере раз в неделю особою щеткою, кипятком с мылом.

Городские улицы чистятся по нескольку в неделю раз нарочно определенными к тому людьми, и на каждом перекрестке стоят во время хотя едва влажной погоды с 9 часов утра до 4 пополудни бедные мужики или бабы с метлами, чтоб содержать ежеминутно в чистоте тропинку для пешеходов.

Сия любовь к чистоте, коею большая часть жителей лондонских столь похвально отличается, приметна более в рачении о белье. Как мужчины, так и женщины смотрят здесь на доброту и чистоту белья более, нежели на красоту и богатство платья. Охота до чистого белья простирается до того, что богатые люди даже и в зимнее время переменяют оное дважды и трижды в сутки. Самые простые ремесленники переменяют его два или три раза в неделю, а в воскресный день едва ли найдешь нищего, на котором не было б чистой рубахи, хотя бы все прочее на нем платье в лохмотьях было изорвано. Я осматривал госпитали и больницы в разных местах Европы, но нигде не видел той чистоты, каковая здесь в домах, сему посвященных, царствует, и оная тем необходимее, что здания сии наполнены многими сотнями больных и бедных».

(После кронштадтских улиц, похожих на проселки, кронштадтского госпиталя, управлявшегося гоголевскими земляни-

ками, матросских кубриков, повитых фимиамом прелых полу-шубков, капитанов, которые небезуспешно «искались», такой вот всеобщей опрятности можно было только завидовать.)

«Недуг подражания ввергает в необходимость делать чрезвычайные издержки на платье и на другие предметы, в рассуждении которых французы более одним токмо видом изящества довольствуются. Огромные суммы расточаются в идололожении моде и роскоши, и сия страсть тем вредительнее, что покрой платья здешних щеголей и щеголих почти ежемесячно переменяется.

Сего дня увидите вы женщин, закутанных до подбородка; лицо обверчено у них частым покрывалом, они покрываются шляпкою, в которой голова походит на черепаху. При полуденном ветре и когда погода стоит теплая и небо ясно прогуливавльщицы наши едва могут дышать под плотною своею одеждой. Пот течет у них каплями по лицу и бороздит поддельный румянец. Они едва держатся на ногах от утомления, производимого сильною испариной, задержанною в ее темнице, и страждущая почти до удушья красавица охотно скинула бы с себя часть тягостного наряда, но тираны моды сего не дозволяет, и она сделалась бы посмешищем, дерзнув свергнуть с себя ее оковы.

Через несколько дней вздумает модная первой статьи красавица явиться совсем в противоположном тому приборе. Плечи и грудь ее покрыты тончайшим флером, и сквозь туманно-подобный кисейный покров все члены тела ее почти без труда разглядеть можно.

Вертопрахи, сливущие знатоками доброго вкуса, восхищаются при виде полупокрытых прелестей и, удивляясь вслух обнаженной грации, хвалят с пламенным восторгом круглые, телистые ее плечи, превозносят очаровательную силу полной прекрасной груди ее и соразмерность членов.

Сколь жены и дочери здешних знатных и низней степени людей любят наряды, столь мало преданы сей склонности особи мужеска пола. Лет за десять перед тем можно еще было различить по платью господина от мещанина. Ныне знатные люди, даже герцоги и лорды, одеваются просто, по-мещански. Шелковые чулки, пряжки вместо завязок на башмаках и треугольная шляпа вместо обыкновенной круглой суть единственныя знаки, коими в обществах они отличаются, да и то редко».

(Безымянный автор бранчлив, как Фамусов. Может, и Головин презирал «тиранию моды». Но от роду ему было два-

дцать шесть. Но месяцами он созерцал лишь небо да волны. А тут «полуприкрытие прелести!» Аскетизма хватало на корабле. На берегу флотские не давали обета воздержания. И если лейтенант «не устоял», то пусть его корит заплесневелый судовой иеромонах, а не мы.)

«Нигде в свете не говорят более здешнего о свободе, но опыт наставляет, что нигде нет лживее понятия о сей попечительнице устройства наук, художеств и вообще человечества.

Здесь злоторец может удобнее укрываться под сенью законов; сильный или коварный ненаказанно угнетать слабого, но честного, а богач обращает законы по своему желанию.

С тех пор, как заведена здесь своя Бастилия для всех дерзающих употреблять собственный здравый разум, не один из граждан, воспротивившийся пожертвовать своими правилами видам властей, томится несколько лет в сем аде. Сие тиранство в рассуждении честных людей тем жесточе, что они преданы тут на произвол злобного и корыстолюбивого пристава.

Столько же опасно всякому, кто не подкреплен сильным родством или знатным богатством, в Лондоне, усеянном шпионами, обнаруживать мнение свое о предметах веры и законодательства, хотя бы чинено сие было с крайним благорассуждением и скромностию.

Всякое негодование противу мер министерства, не на правоте и дельности основанных, возбуждает подозрение в якобинизме. Никакие свободные мнения не остаются здесь без наказания, а строгость в суждении о поступках вельмож почитается второй статьи преступлением.

Напоследок скажите, можно ли утверждать о свободе подданных под таким правлением, которое наказывает с крайнею суворостью прежде, нежели виновный изобличен и даже выслушан будет? Это случается здесь почти всегда, паче же в Лондоне, где тысячи подзорщиков каждый шаг простодушного человека, не боящегося суждений, наблюдают.

Англичане по свойству своему суть подлинно народ добрый, деятельный и великодушный. Но тщание здешних властей клонится к тому, чтобы изгладить последние изящные черты в характере сего народа.

Нижний и верхний парламент наполняются людьми, которые без зазрения совести жертвуют благом избирателей частным своим выгодам, и присягу, учиненную ими при приеме в сословие, готовы нарушить столько раз, сколько потребуют того планы министерства».

Это уже не брюзжание, а прямое политическое ниспровержение «доброй старой Англии». Правда, безымянный автор обстреливает ее «правым бортом»: он роялист, как явствует из прочих писем, ему не по вкусу возвышение «аршинников». Пусть так. Важно сейчас другое: нос его не оседлан розовыми очками. Не усматривая за деревьями большого исторического леса, он верно и точно различает деревья. Различал и Головнин. Нет у него ни единой строки в духе безудержных англоманов, нередких среди русского морского офицерства.

Недавно видел Головнин восставший флот, теперь Англию, бурлившую забастовками. Право, как-то чудно вообразить выкормыша помещичьего гнезда, офицера, дышавшего «мрачностью» павловского царствования, чудно представить его в стране, где беспрестанно спорят о каких-то тред-юнионах, о каких-то правах булочников и докеров, портных и ткачей. А тут еще заговор полковника Деспарда. Удивительный заговор! Совершенно не похожий на тот, что увенчался успехом в Михайловском замке.

Про Деспарда узнал Головнин в конце 1802 года. Узнал из газет, услышал в апартаментах русского посольства, где волонтеры бывали часто.

Деспард, республиканец, демократ, готовил заговор два года. В тайном сообществе соединились рабочие и ремесленники, солдаты и матросы. Деспард намеревался ворваться в Тауэр, овладеть «старой леди с Тред-Нидл-стрит»<sup>1</sup>, перебить королевскую семью.

(Много позже и Головнин будто бы проектировал, как извести на корню императорскую фамилию. Впереди — страница, этому посвященная.)

Предательство, почти всегдашая пагуба заговоров, сгубило и отважного полковника. Процесс Деспарда взбудоражил лондонцев. Присяжные признали подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения.

Снисхождения не было. Было восхождение: на эшафот. С помоста осужденный крикнул затаившей дыхание толпе, что его казнят как друга всех бедных, всех угнетенных, что он умирает с надеждой на скорое торжество свободы, гуманности, справедливости. Вместе с полковником умертвили шестерых его товарищей — плотников, бывших солдат, сапожника.

<sup>1</sup> Головнин, как и тысячи лондонцев, хаживал на Сент-Джеймс-стрит смотреть выставленные в витрине политические карикатуры знаменитого Дж. Гилрея. Одна из них изображала старуху супердайку, обитавшую на Тред-Нидл-стрит: Английский банк. Кстати, рисунок по сей день висит в парадном вестибюле банка, а сам банк и теперь нередко величают «старой леди с Тред-Нидл-стрит».

Лейтенант Головнин мог одобрять домашний заговор против курносого деспота. Тайное сообщество «черни» одобрять он не мог. Ведь и на Сенатской площади мятежных дворян испугали каменщики и штукатуры, строители Исаакиевского собора.

Во время процесса Деспарда обитатели лондонских и иных трущоб опасались не только за участь подсудимых, но и за свою собственную: готовилась новая насилиственная вербовка во флот. Из-за Ла-Маша грозились, это так. Но в первую очередь, пожалуй, правительству хотелось выпустить из жил народа горячую крамольную кровь.

Вербовку осуществили. По мнению правительства и лордов Адмиралтейства, весьма кстати: Амьенский мир обратился в архивную бумажку. Нужды нет провизорски взвешивать, кто сильнее зарывался — Бонапарт или Питт. Господствует кто-то один, двоим на земле, оказывается, тесновато.

В начале мая 1802 года король Георг III заявил, что Франция угрожает чести и безопасности Англии. Первый консул, без пяти минут император французов, заявил, что Англия угрожает чести и безопасности Франции. Будучи красноречивее выжившего из ума Георга, Наполеон картино избоченился:

— Англия не уважает договоров! Ну что же, завесим их черным покрывалом!

Еще не замолк стук кареты, увозившей из Парижа английского посла, как на британских эскадрах взвился «Синий Петер», сигнал немедленной съемки с якоря.

#### 4

Есть в Эрмитаже акварель Уистлера «Морской смотр»: прохлада белесо-зеленых волн; высокое, в розовеющих облах рассветное небо; дальняя, сумеречная береговая полоса; корабли не выписаны, они означенены.

Морской смотр... Просторно, зябко, поднимается ветер... Так, думаю, было и в то майское утро, когда русский моряк вручил адмиралтейский пакет британскому капитану. И с этого утра судьба волонтера связалась морским узлом с судьбою английских экипажей.

«Руководство для офицеров всякого звания на судах его королевского величества» открывается наставлениями волонтеру: завтракать не иначе как по окончании туалета; при входе на шканцы<sup>1</sup> непременно приподымать фуражку, уважая место,

<sup>1</sup> Шканцы — часть палубы, считавшаяся почетной. Там объявляли официальные распоряжения. На шканцах запрещалось курить и сидеть всем, кроме командира корабля и флагмана.

где читаются королевские указы; в такие-то и такие-то часы — занятия математикой и навигацией; участие во всех матросских работах, ибо морской человек с первого взгляда разгадает, морской ли офицер ему приказывает<sup>1</sup>; морскую болезнь волонтер может одолеть, лишь находясь в движении, исполняя свои обязанности; ему должно обрести sea legs, морские ноги; вбежать на ванты, не хватаясь за выбленки<sup>2</sup>; аккуратно вести поденный журнал; обедая по приглашению в командирской каюте или в кают-компании, выказывать «манеры натуральные, соединенные со вниманием и уважением к старшим» и т. д. и т. п.

Это своеобразное «Юности честное зерцало» и недурно и полезно, да только адресовано мальчикам 13—15 лет. А русские волонтеры были сами с усами, не со школьного порога шагнули на британские палубы. И хотя многому научились там, держались отнюдь не робкими увальнями.

В автобиографии Головнин досадно краток: служил, мол, на разных английских кораблях и в разных морях до 1805 года. Шабаш. Никаких подробностей. Волей-неволей воротишься отрывочные заметки и письма его приятелей Петра Рикорда, Григория Коростовцева.

Последний находился на борту фрегата «Ла Бланч», когда стало известно о разрыве с Францией. Коростовцев рассказывает:

«Сигнал: требуют лейтенанта. Поехал лейт. Брайт. Мы сидим за столом, завтракаем. Лейтенант Брайт возвращается. Я позабыл сказать, что он всегда входит и выходит из кают-компании с песнею. Слышим песню: знаем, кто идет. Отворяются двери, и Брайт со следующими словами обращается к первому лейтенанту: «Ты будешь капитаном через шесть месяцев: война!» — «Браво!» — закричали все. «Война!» — отозвалось во всех углах судна. Не прошло одной минуты, как застучали, загремели... Везде война: на шканцах, на палубе, на баке... Лекарь чистит инструменты... Итак, с сего времени

<sup>1</sup> Известное требование П. С. Нахимова к офицерам — быть лучшим боцманом своего корабля — не изобретено знаменитым адмиралом, вопреки утверждениям новейших биографов. То же следует сказать и про Г. И. Бутакова, учителя моряков русского парового и броненосного флота. Его приказ, не однажды цитированный (автором этих строк в том числе), гласил, что «каждый морской офицер должен быть лучшим матросом и лучшим боцманом своего судна, чтобы иметь нравственное право требовать от подчиненных своим примером всего того, что им приходится исполнять». Все это, в сущности, «повторение пройденного». Да ведь повторение — мать учения.

<sup>2</sup> Выбленки — поперечные смоленые тросы, ввязанные в ванты для подъема на мачту.

мы уже на военной ноге — всегда готовы к сражению; днем попадаем ядрами в цель, а на ночь все готово, все по пушкам перекликаются и ядра кладут близ пушек».

Однако волонтеры не орали «браво!». Не велика была радость околеть под ножом лекаря, «чистившего инструменты», не улыбалось получить карачун за честь и достоинство короля Георга. «Вчерашний день, — сообщает Рикорд Коростовцеву, — читал газету о проклятой войне, которая, я думаю, и тебя много расстроила в мыслях...»

Накануне расторжения Амьенского договора в Париже общался с Бонапартом некий англичанин. Его нецеремонно ткнули носом в географическую карту: взгляните, сэр, как мал ваш остров. Англичанин вздернул подбородок: «Да, но своим флотом мы обнимаем мир!» И он сделал горделивый широкий жест. Англичанин был прав. Прав был и поэт:

Как полип тысячерукий, бритты  
Цепкий флот раскинули кругом  
И владенья вольной Амфитриты  
Запереть мечтают, как свой дом<sup>1</sup>.

Прежде Головнин хоть и не в подзорную трубу, но все же сторонним оком рассматривал этот «цепкий флот». Теперь он жил одной с ним жизнью.

На кораблях его величества грубость граничала с варварством. Лексикон «просолился» круче солонины. «Пехотные офицеры», то бишь пустые бутылки из-под спиртного, летели за борт, словно гранаты. Призовые деньги — выручка за груз и вражеское судно — составляли предмет общих и постоянных вожделений, как во времена пирата Френсиса Дрейка. Фанфaronская убежденность в британском могуществе звучала лейтмотивом, за этот «плетень» мысль редко перелетала. Короче, прозвище «сок ріт» — петушья яма — с прицельной меткостью разило не только мичманские каюты.

За четыре военных года лейтенант Головнин побывал на семи военных кораблях. Перед ним возникла вереница капитанов и офицеров. Немногие нравственно выдавались из общего ряда. Многие выдавались профессиональной деятельностью.

Василий Головнин плавал под флагами адмиралов Уильяма Корнваллиса, Кодберта Коллингвуда и Горацио Нельсона. Имя Нельсона известно. Его моральные качества выпестовали «петушки ямы»; Герцен клеймил его «дурным человеком». Дурной человек может быть неустршимым флотоводцем. Нельсон был

<sup>1</sup> Фридрих Шиллер, Начало века. Перевод В. Курочкина.

великим военачальником, но не великим человеком, как и Наполеон.

Герой Абукира и Трафальгара лестно отзывался о русском лейтенанте. Учитывая английский «военно-морской шовинизм», надо думать, что мужество волонтера Головнина оказалось высокой марки. Кодберт Кэллингвуд, интимный друг и боевой соратник Нельсона, подтверждает эту похвальную аттестацию. Девяносто девять из ста офицеров размахивали бы ею, как знаменем. Головнин (в автобиографии) промолчал. Уничтожение паче гордости?..

Шиллер не ошибался: бритты выхватывали у одряхлевшей греческой богини вольные, пенистые владения. Амфитриту возили по морям-окиянам тихоходные тритоны. Английский флот летел полным ветром. Под форштевнями взбулькивало: «Джон Буль... Джон Буль... Джон Буль...». Рули были послушны: «Rule Britannia», «Правь, Британия».

Волонтер пересек экватор, перервал невидимую нить, опоясывающую Землю. Но Головнин не финишировал. Ему еще предстоял долгий марафонский бег. И не с английским вымпелом в руке.

Экватор пересек волонтер. Его, как водится, окатили забортной атлантической водою, посвятив в рыцари ордена «Смоленых Шкур».

В глаза, привычные к северной хмури, брызнул блеск Карибского моря. Оно обольщало, как креолка. Давний пиратский садок отражал солнце Вест-Индии, зарницы артиллерийских залпов. Море нежных полуденных дождей знавало такие жестокие схватки, что нападение акул кажется игрой в салочки.

«Старая леди с Тред-Нидл-стрит» потяглась бы в обжорстве с Гаргантюа. Ей не уступала лондонская биржа. Лондонскому банку и лондонской бирже не хватало Ост-Индии, они зарились на Вест-Индию. «Своим флотом мы обнимаем мир!» Железные объятия.

Что там творилось, в этом Карибском море? Нет, Англия еще не воевала с Испанией. Но союз Карла IV и Наполеона был предрешен. И потому: настигни испанского купца, схвати за горло, вытряхни мошну. Англия прежде всего, права она или не права. Призовые деньги — на кон!

Один из русских волонтеров не дурно рассказал, как осуществлялись мечты английских «Sea dogs»<sup>1</sup>.

«Подойти, остановить и осмотреть испанца было делом двух, трех часов. Лейтенант, посланный для осмотра приза, по воз-

<sup>1</sup> Морские собаки.

вращении на фрегат был встречен толпою офицеров и матросов, с нетерпением ожидавших его.

— Ну что? — воскликнули несколько голосов.

— Главный груз — полмиллиона испанских талеров, кроме индиго, кошенили, которыми набит трюм!

Тогда все офицеры схватили карандаши и бумагу и, бросившись к шпилю, дрожащими от радости руками стали высчитывать, кому сколько придется на долю, и я помню, что капитану досталось семь тысяч, на каждого лейтенанта по две тысячи фунтов стерлингов чистыми деньгами, не считая того, что каждый из них получит за индиго, кошениль и за самое судно.

Вместе с лейтенантом приехал и испанский шкипер. Он не знал по-английски, но говорил по-итальянски, и так как, кроме меня, никто на фрегате не понимал этого языка, то и просили меня быть переводчиком. Вместе с шкипером вошел я в капитанскую каюту. Долгое время не мог он произнести ни слова, наконец, очнувшись, произнес:

— Где же тут законность?.. Вы захватываете испанские суда, когда еще не прерваны дипломатические сношения! Да это против всех понятий о морском праве!

В ответ на это капитан сделал знак удалиться, и, когда мы вышли из его каюты, испанец, узнав, что я русский, стал изливать передо мною все свое бешенство.

— Это разбой, пиратство! — говорил он. — Не объявляя войны, захватывают врасплох! Если б я знал это, то принял бы средства избежать встречи с этими пиратами, а то, напротив, спешил увидеть военный флаг, чтобы поверить свое счисление<sup>1</sup>. Злодеи! Грабители!

Напрасно стараясь утешить бедного шкипера, я должен был, наконец, предоставить его собственному отчаянию и принять участие в общей деятельности, поднявшейся на фрегате. Из опасения, чтобы ночью не поднялась буря и не погибнул бы драгоценный приз, приказано было выгрузить с него на фрегат ящики с талерами. Началась восторженная, кипучая работа, продолжавшаяся всю ночь.

Обычно все призы отсылались в английский порт, где и продавались особыми агентами, которые получали за это известный процент с вырученной суммы. Но теперь дело обошлось и без комиссии.

— Приз денежный, разделим и без агента! — сказал капитан, и все единогласно приняли это предложение.

Начался дележ. Звонкая монета из ящиков пересыпалась

<sup>1</sup> Счисление — графическое изображение пути судна на карте, необходимое для ориентировки.

в фитильные кадки, в которых через люк опускалась в капитанскую каюту и там сортировалась по ценности: золотые дублоны и империалы покрывали весь круглый обеденный стол и блеском своим затмевали талеры, скромно лежавшие на полу. В совершенном порядке, по старшинству, каждый получал свою законную долю золотом и серебром и, насыпав ее в мешок, уходил в свою каюту и с удовольствием Гарпагона принимался пересчитывать и любоваться ею. Несколько дней в палубе, где жили матросы, только и слышно было: чик... чик... чик... Приятный звон новых, блестящих, только что отчеканенных в Мексике талеров!.. Каждый матрос получил по 500 талеров, и я, по званию волонтера, то же самое».

Карибское море конфигурацией похоже лишь на одно море — Средиземное. Ревущие ураганы Антильских островов похожи на быстрые, неожиданные «ветрапады» у берегов Испании. Оба моря качали некогда бесшабашную пиратскую вольницу. Теперь в Средиземном действовали регулярные военные флоты: Англии, Франции, Испании.

Выше сказано, что кронштадтцу Головнину не пришлось разделить славу севастопольцев. Ушаковские герои давно возвратились на восток, туда, где руины Херсонеса и козы татарского селения Ахтиар, туда, где юно белел русский городок, которому суждено было дважды оправдать свое громкое имя — Знаменитый город, Севастополь.

Нет, не в блокаде Корфу участвовал волонтер Головнин, а в блокаде Тулона и Кадиса. Кадис — это Испания. Тулон — это Франция. Испания и Франция — противники Англии.

Подобно Кронштадту, Кадис лежал на прибрежном острове. Как и Кронштадт, Кадис был морской крепостью. В отличие от Кронштадта Кадис много выигрывал от высоких утесов, они хранили его надежнее редутов. Блокировать крепость значило замкнуть купеческую и военные гавани.

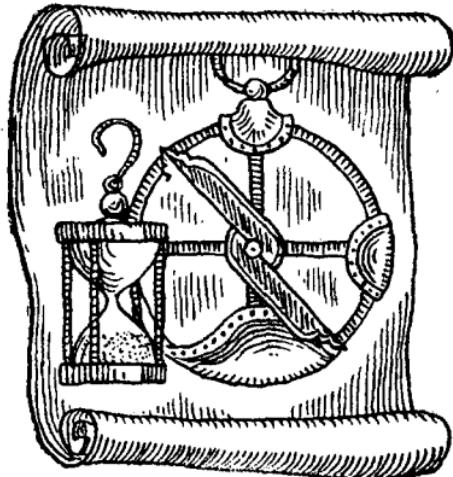
Британские пушки держали под угрозой не только торговые суда, вывозившие херес и финики, оливковое масло и соль, — они грозили городу, блещущему чистотой, грозили холстам Мурильо, башне Торре-де-Вегиа, откуда открывалась такая поразительная панорама, что ее не могли испакостить даже вражеские корабли.

С борта тех кораблей Головнин увидел Гибралтар. Потом зеленые с прожелтью воды Гибралтарского пролива сменились чистой лазурью — эскадра бежала на северо-восток, к Южной Франции.

Не столь давно британцы гуляли в Тулоне победителями: роялисты, противники революции, сдали форты и эскадру,

интервентов выкурил из Тулона капитан Бонапарт. Теперь его звали императором Наполеоном. Английскому адмиралу не приходилось рассчитывать на роялистов. Взять город он не мог, он держал его в блокаде. Но «половинной» — лишь со стороны моря.

Реестр боев, произошедших меж берегами Европы и Африки, потребовал бы, наверное, кибернетической машины. Во времена Головнина там тоже не скучали. После очередного боя, после абордажной схватки, капитан фрегата «Фисгард» писал, что русский волонтер Головнин «дрался с необыкновенной отвагой и был так счастлив, что остался невредим».



## Глава третья

1

Но соль судьбы — в испытании судьбы.

А испытание ждало долгое. Тут подавай не вспышку, не горячечную храбрость. Тут подавай мужество, холодное и терпеливое, в отличие от металла чуждое усталости.

Ему же было нехорошо:

«Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальнние моря я никогда не оставлял ее берегов с такими чувствами горести и душевного прискорбия, как в сей раз. Даже когда я отправлялся в Западную Индию, в известный пагубный, смертоносный климат, и тогда никакие мысли, никакая опасность и никакой страх меня нимало не беспокоили. Может быть, внутренние, нам непостижимые предчувствия были причиной такой унылости духа; а может статься, продолжительное время, в течение коего мы должны были находиться вне Европы и в отсутствии родственников и друзей и необходимо должны неоднократно встречать опасности и быть близко гибели, рождали отдаленным, неприметным образом такие мысли при взгляде на оставляемый берег».

«Оставляемый берег» — окраинные скалы Южной Англии. Но это лишь географически. А мысленно покидали они Россию. Их — шестьдесят. Шестьдесят душ, экипаж «Дианы».

Как все шлюпы, «Диана» нечто среднее между фрегатом и корветом. Ее «срединность» определялась и водоизмещением, и парусностью, и артиллерийским вооружением. Она несла четырнадцать пушек; пушки были медные, легче чугунных на пятнадцать пудов. (Их голос Головнин слыхивал: эти медные орудия прежде стояли на «Эммануиле»; близ Гогланда они яв-

кали ответный салют эскадре Макарова.) Итак, четырнадцать стволов в батарейной палубе. Плюс на верхней палубе четыре похожие на бульдогов карронады для стрельбы с короткой дистанции и четыре фальконета, небольшие, чугунные, малого калибра.

Однако шлюп не намеревался драться. Морские сражения осточертели Головину. Ему минул тридцать один. Половина жизни прошла в огне. Он остался невредим. Зачем? Вить береговое гнездышко? Ну, нет-с, увольте! Пробил час исполнения заветной мечты, родившейся в Итальянском дворце.

Крузенштерн и Лисянский — тоже питомцы Морского корпуса, тоже «крещенные» в балтийских боях, тоже волонтеры, — Крузенштерн и Лисянский вернулись в Россию, как и Головин, в 1806 году. Но вернулись-то не из Средиземного или Карибского морей, а завершив первый русский кругосветный поход.

Успех был громкий. И заслуженный. Головин увидел паруса отважных, паруса «Надежды» и «Невы». Он знал виновников торжества, долговязого, сероглазого добряка Ивана Федоровича Крузенштерна, кудлатого, с орлиным взором, порывистого Юрия Федоровича Лисянского.

Пример был подан, почин сделан. Распахнулась эпоха российских кругосветных путешествий. Тех, что вписали ярчайшую главу в историю мореходства, географии, океанографии.

Торить кругосветную дорогу рвались почти все морские офицеры. Наградой была не награда, а слава. «Званых много, избранных мало». Адмиралтейство избрало лейтенанта Василия Михайловича Головнина. В этом избрании было признание. Особое, не сравнимое с блеском бриллиантового перстня.

Император Александр, вняв ходатайству министра, жаловал лейтенанта перстнем и деньгами за составление «Военных морских сигналов» (ими пользовались четверть века). Кроме того, бывший волонтер привез не лондонские сувениры, а «Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов». Его практические познания не вызывали сомнений. Пхвалы Нельсона и Коллингвуда придавали ему большой вес. И вот назначение на «Диану».

«Надежду» и «Неву» купили в Англии, «Диану» сработали в России. И украсили, как повелось издревле, деревянной резной скульптурой: девственница в коротком хитоне, колчан за спину, летящие по ветру волосы — Диана. Героиня многих мифов была влюблена лишь однажды — в спящего красавца Эндимиона. Диане, установленной на «Диане», суждено было полюбить бессонное море.

Главная цель была исследовательская: «Опись малоизвестных земель, лежащих на Восточном океане<sup>1</sup> и сопредельных российским владениям в восточном крае Азии и на северо-западном берегу Америки». К главному «предмету» добавили «попутный»: транспортировку громоздких тяжестей в Охотский порт.

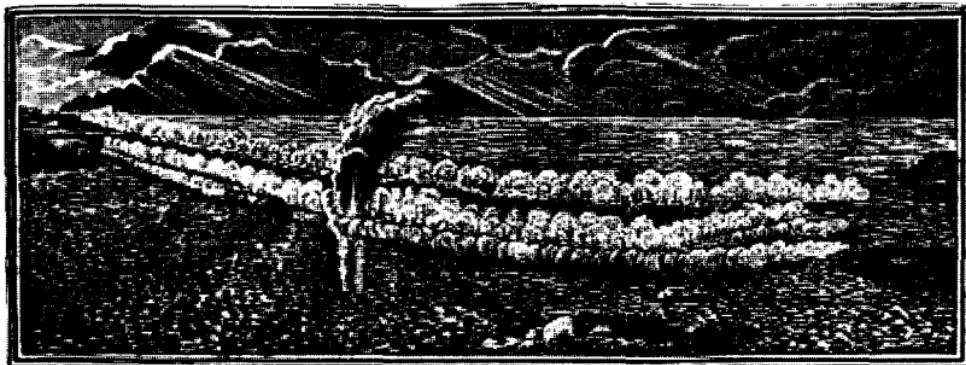
Размещение грузов в трюмах — почти такое же искусство, как и вождение корабля. Весною 1807 года Головнин был сти-видором, то есть специалистом по погрузке. Он принимал, распределял, укладывал: железо и якоря, парусину и канаты, про-виант, бочки с пресной водой и древесный уголь, платье, обувь, порох, ядра, инструмент, гвозди и т. д. и т. п.

Он управился отлично: «В продолжении путешествия опыт мне показал, что при укладке груза... никакой ошибки не сделано». Не часто услышишь подобное. А тому, кто иронически усмехнется (эва, хитрость!), остается лишь попробовать, каково на деле.

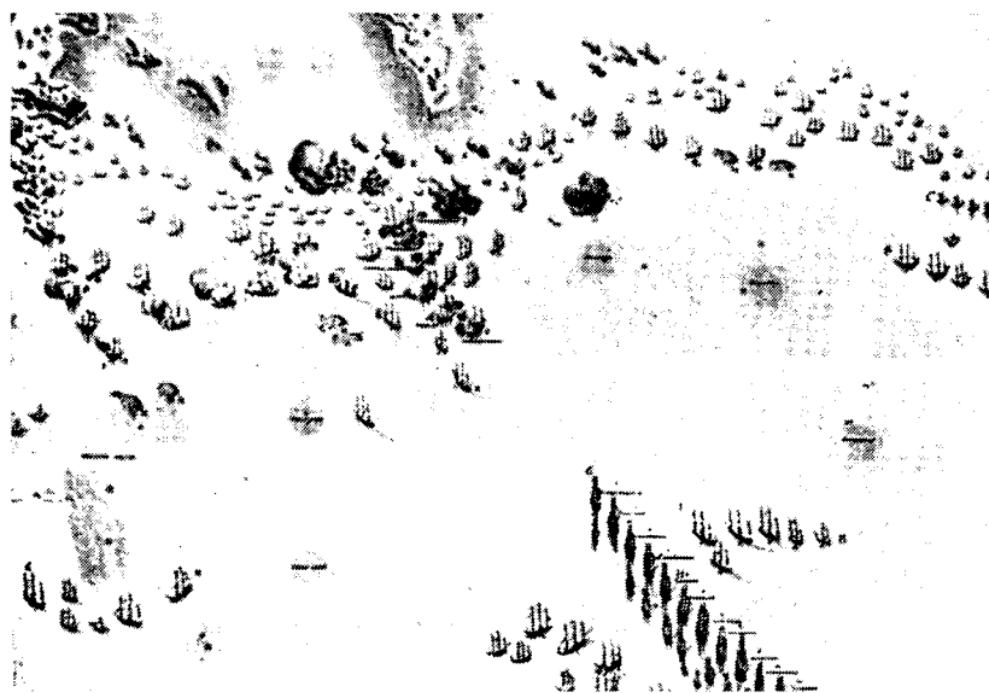
Новизну и важность экспедиции сознавали в Петербурге. Снаряжением «Дианы» занимались адмиралы и мастеровые казенного завода, министерские чиновники и кронштадтские боцманы.

Крузенштерн, человек большой душевной щедрости, не один час провел с лейтенантом. Иван Федорович еще не мог вручить ему свою книгу о плавании «Надежды», но, как писал Головнин, «добровольно позволил мне взять из типографии самые нужные для меня карты и планы, выгравированные для его путешествия, прежде нежели оно было обнародовано, чего не позволяют другие издатели путешествий. За таковую его благосклонность ко мне я не менее признаю себя ему обязанным, как и за советы, которые он мне дал по моей просьбе, касательно моего плавания... Признательность моя к сему почтенному мореходцу заставляет меня сказать, что, кроме позволения пользоваться картами его трудов, он сам лично просил г-д членов Адмиралтейского департамента приказать директору типографии поспешить окончанием его карт прежде моего отправления. При сем случае г-н капитан-командор и член помянутого департамента, Платон Яковлевич Гамалея, принял на себя попечение о скорейшем окончании оных. В департаменте не было формального о сем повеления, но ему угодно было принять на себя сей труд единственно по отличному своему ко мне благорасположению и по желанию успеха нашей экспедиции. Все

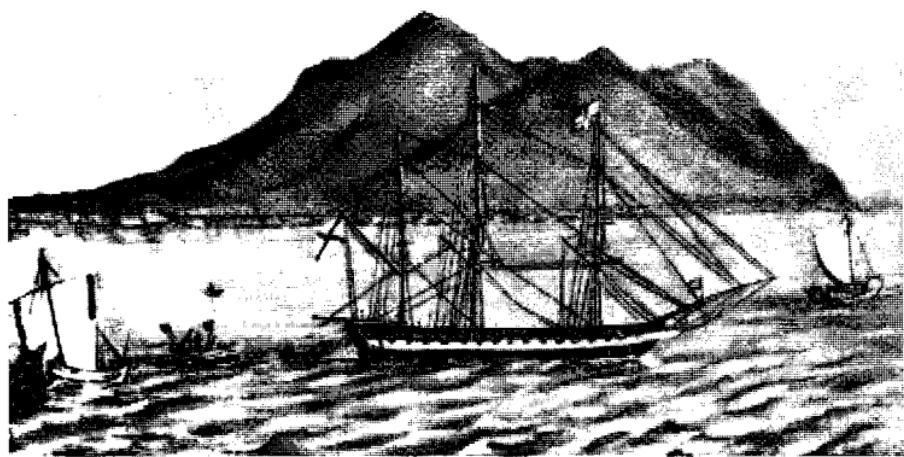
<sup>1</sup> Тихом океане.



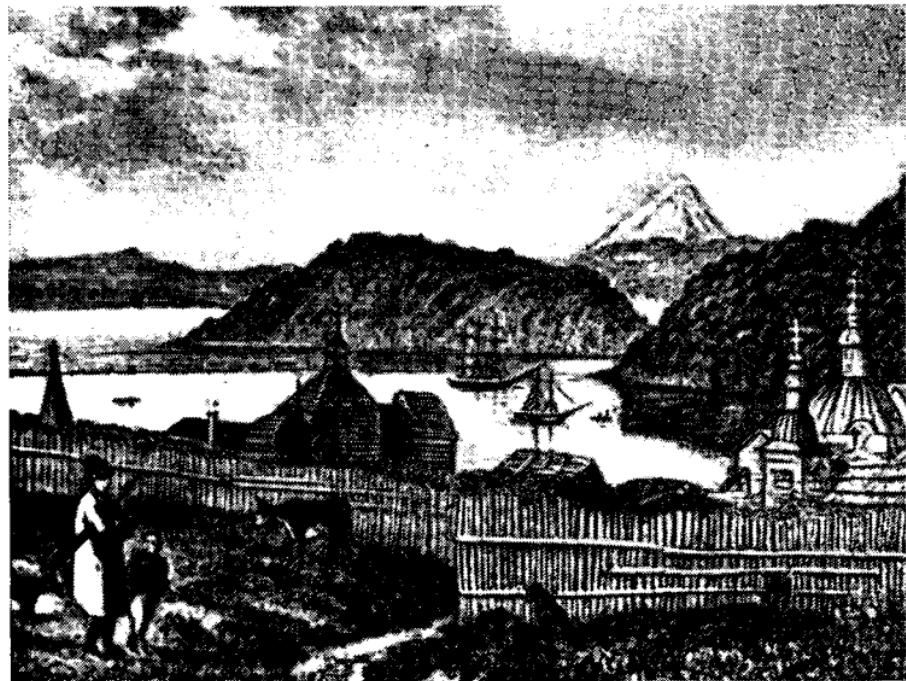
Морское сражение. Русско-шведская война 1788—1790 гг.  
Шведская гравюра XVIII в.



Перспективный план Выборгского сражения 22 июня 1790 г.  
(с рис. пастелью того времени, из собрания П. Я. Дашкова).



Шлюп «Диана».



Вид Петропавловской гавани.

готовые карты перед отправлением я имел честь получить из его рук»<sup>1</sup>.

Матросы не пришли на шлюп по канцелярской цидуле. Крузенштерн, Лисянский, Головнин положили за правило набирать добровольцев. Из шестидесяти человек Головнин обманулся лишь в мичмане Федоре Муре. Все ж другие оказались под стать командиру. А своему помощнику, лейтенанту Петру Рикорду, он был обязан жизнью.

У прежних моряков, ходивших «вокруг света», водилось прекрасное обыкновение: в отчетах помечали они поименные списки всех участников экспедиции. Так воздавалось должное каждому матросу. К сожалению, капитаны ограничивались лишь именами и фамилиями. Если об офицерах можно разжиться некоторыми подробностями, то формуляры «нижних чинов» — редкость. Но и на том спасибо, что они названы, эти мужики, исхлестанные ветрами Океании, Аляски, Антарктиды.

Дальность плавания предполагала происшествия, предусмотреть которые не сумели бы и сочинители павловского устава. Инструкции давали Головнину многое. Он распоряжался полновластно — «первый после бога». «Диана» была военным кораблем; встречным русским коммерческим судам командир имел право отдавать приказания, какие он счел бы полезными «для службы его величества». Собственным распоряжением Головнин мог награждать деньгами усердных матросов. Наконец, ему, и только ему, следовало избрать генеральный курс — в обход ли мыса Горн, в обход ли мыса Доброй Надежды.

25 июля 1807 года «Диана» окрылилась парусами. С этого часа началось для Головнина «сживание» с кораблем, обретение того особенного «чувства корабля», без которого нет настоящего водителя парусного судна. Командир и корабль вверяются друг другу, как наездник и аргамак. Им обоим вверяются десятки людей.

На старинных картах рисовали щекастых здоровяков: на-

<sup>1</sup> В 1802 году в России были образованы восемь министерств, в том числе военных морских сил (с 1815 года — морское министерство). В это ведомство входили Адмиралтейств-коллегия и Адмиралтейский департамент. Коллегия занималась содержанием, комплектованием, снабжением и действием флота. Членами ее назначались флагманы, двое из которых ежегодно сменялись. В департаменте заседали «люди, известные ученостью и сведениями, морскому искусству существенную пользу принести могущие».

К последним принадлежал и благодарно помянутый Головниным П. Я. Гамалея. Платон Яковлевич (1766—1818) оставил заметный след в истории русского морского образования как автор прекрасных морских учебников. В 1801 году он был избран почетным членом Академии наук.

Небезынтересно отметить, что П. Я. Гамалея предок советского ученого, почетного академика Н. Ф. Гамалеи.

пряженно вытянув губы, они извергали тугие вихри. Молодцы эти, боги ветров, с медвежьей грацией ухаживали за «Дианой»: пихались, норовили затолкать обратно в Кронштадт. Потом нанесли тяжкие тучи. Ночью ударила гроза. И такая, какой Головнин не видывал и в Средиземном. В пронзительном блеске молний, в раскатистом салюте громов «Диана», как говаривали моряки, «брала отшествие от берегов отечества».

Балтика буйствовала. На курсе «Дианы» покорно тонуло судно, покинутое командой. Вочных ненастях тускло светили бельмистые маяки. У датских берегов качался сильный английский флот. Жители Копенгагена живо помнили сравнительно недавний налет Нельсона. Сейчас британцы вновь налиси над маленьким королевством.

Головнин почуял перемену политической ситуации. Догадку укрепили газетные известия. Едва шлюп положил якорь в Портсмуте, Головнин прочел о назревающем англо-русском конфликте. Уж кто-то, а бывший волонтер хорошо знал «призовое право». Первой его мыслью было получить от английского правительства надежный охранный документ.

Головнин поехал в Лондон. Скрипучие дилижансы (англичане окрестили их морским чином — «комодоры») не отличались торопливостью. Лейтенант раскошелился и полетел на почтовых. Каждые восемь миль ждала подстава. Возница трубил в рожок, как Робин Гуд. Красные колеса стучали по ровной дороге.

Головнин думал обернуться в неделю. Оно бы так и вышло, когда бы ни проволочки в коммерческом ведомстве: «Диане» следовало получить добавочный провиант, большое количество рома.

Капитан Юрий Федорович Лисянский хватил лиха от английских мздоимцев. «Всяк, кому токмо было время, брал с нас без совести», — вздыхает он в своем рукописном дневнике. Головнин рече Лисянского: «Все знают, что поднее, бесчестнее, наглее, корыстолюбивее и бесчеловечнее английских таможенных служителей нет класса людей в целом свете».

Командир «Дианы» застрял в Лондоне на три недели. Впрочем, задержка принесла ему и некоторое успокоение. Газетные пугающие сообщения оказывались, судя по некоторым признаниям, напраслиной. Англия ожидала из Средиземного моря дружественную эскадру Сенявина. В Портсмуте уютно отстаивался фрегат «Спешный» с деньгами для Сенявина — ни много ни мало, а два миллиона золотом и серебром. Вот уж завидный приз! А «Спешный» не спешил вон из Англии. Стало быть, нечего дуть на воду. Есть ли нужда в «паспорте» для шлюпа?

Однако береженого бог бережет. Головнин исхлопотал «охранную грамоту». Увы, впоследствии она обернулась филькиной грамотой.

Выход из Ла-Манша и ныне не считается прогулкой. Суда, идущие в Атлантику, берут лоцманов. Головнин лоцмана не взял. Самонадеянность? Быть может. Но и отличное знание, благоприобретенный опыт.

Скалами мыса Лизард в океан обрывалась Англия. Европа исчезала за кормой. «Нельзя было не заметить, — рассказывает Головнин, — изображения печали или некоторого рода уныния и задумчивости на лицах тех, которые пристально смотрели на отдаляющийся от нас и скрывающийся в горизонте берег».

«Диана» вышла в Атлантический океан.

Стоял ноябрь 1807 года.

## 2

Стихотворец Вяземский побывал однажды на русском военном корабле. Язвительный князь пропел вдруг такой дифирамб:

«Я был в восхищении и сердечно жалел, что не посвятил себя морской службе. Вот поэзия в мундире! Военное сухопутное ремесло возвышается в военное время; гражданский мундир — не лакейская ливрея в тех только государствах, где царствуют законы и свободы; должность моряка имеет во всякое время много поэзии, то есть смелости и благородства. Он всегда имеет перед собою сильных врагов (лучше бы: могущих): небо и море. С ними честному человеку весело ладить и бороться».

Много верного! В самом деле, уж служить, так не в лакейской ливрее. Море и небо распрямляют плечи. Они создают иллюзию избавления от ярма «земного тяготения». Но поэт Вяземский был пассажиром, он не заметил «безмундирной прозы», требующейся от «поэзии в мундире»: тяжелой физической работы, привычки к смерти, от которой отделяют лишь дюймы корабельной обшивки.

В бурях есть азарт. Обоюдный азарт человека и стихии: борьба рукопашная, как в абордажном бою. Но существует и сплин штилей, шелестящая голубая тишина. Иногда она длится день за днем.

Океан переменчив и неизменен. Возникает ощущение круга, и ты в этом круге. И потом чувство оторванности, затерянности. Современным человеком оно утрачено. Жалеть нечего.

Надо лишь вообразить, каково было тем, кто восхитил князя Петра Андреевича.

Два с лишним месяца шлюп пересекал Атлантику. Она удручала шквалами, проливными дождями. Опасность внезапных порывов ветра держала в напряжении и вахтенных и подвахтенных. Грозы, казалось, сотрясали не только небо, но и глухие глубины океана. Крупная зыбь валяла корабль. Зыбь эту звали толчей. Даже задубелые марсофлоты кляли ее на все корки.

Во второй половине декабря «Диану» подхватил юго-восточный пассат. Наступили ясные погоды. «Можно сказать, — облегченно заметил Головнин, — что мы получили новую жизнь со дня встречи пассатных ветров».

Большими стаями играли большие рыбы. Любой матрос «Дианы» когда-то сиживал у реки или озера, с бреднем бродил, «морду» ставил. И боже мой, зачесались руки при виде добычи! Солонина уж оскомину набила, а тут, гляди-ка, та-акая уха!

Всем запасся почтеннейший капитан: уды есть, гарпуны, остроги. Закипела деятельность, поднялись споры-раздоры, как всегда среди рыболовов. Однако как ни ловчились, ни единой добычи, хоть плачь. А почтеннейший капитан знай похохатывает: «Не-ет, ребята, сноровка нужна. Вот английские матросы, сам наблюдал, те острогой бьют...»

В ноябре 1807 года «Диана» потеряла из виду мыс Лизард — последний клочок Европы; в январе 1808 года «Диане» открылся остров Екатерины — первый клочок Южной Америки.

В слове «остров» слышится нечто романтическое и романническое. К островам стремились мечтою: остров Утопия.

Ах, где те острова,  
Где растет трин-трава...

Шлюп положил якорь. Все смолкло. И донесся... шум работ. Как на верфях. Стучат, стучат. А то вдруг будто псы взлаивают. А то вдруг сторож в колотушку колотит. Потом уж, на берегу, поняли моряки: все эти звуки неутомимо издавали уверистые бразильские лягушки.

Начались ремонты, рубка дров, завоз пресной воды, проверка астрономических инструментов, пополнение съестных припасов. Словом, все та же нелегкая, повторяющаяся изо дня в день работа. И однако, незнакомая гавань — незнакомая жизнь, краски, запахи. Мореход жадно впитывает новизну. Как ты ни предан морю, обручен с ним, подобно венецианскому

дожу, но ты сын земли. Берег, домашнее, устойчивое, пусть чуждое, пусть неизвестное, рождают в душе отрадный покой. И это спокойствие, тихая радость притягательны именно потому, что кратки.

Остров принадлежал Португалии. Колониальное захолустье. Изумрудная духота в чащах; на тропах ядовитые змеи; в черных ночах бесчисленные светляки. Солнце раскаляло крепостные стены. В крепостях ржавели пушки. Крепости и городок носили звучные, как кастаньеты, имена.

Переход Атлантикой был «пудом соли», который надо съесть, чтобы познать человека. В океане Головнин познал «сущность» своего корабля: хорошо одолевает волну, крепок, осторожен, послушен. К сожалению, не блещет скоростью. И посему раньше марта не достичь мыса Горн.

История, по слову древних, «живая память». Живая память мореплавания хранила множество печальных попыток миновать мыс Горн в марте или в апреле, то бишь в осенние месяцы. Сверкал, однако, пример недавний — Крузенштерна и Лисянского: они пробились.

Головнин колебался. Попытка, говорят, не пытка. Вопреки пословице Головнину предстояло последнее. Но и отступать уж было поздно. От неудачи лейтенант не зарекался. На сей случай он задумал ретираду к мысу Доброй Надежды. С юга Южной Америки к югу Африки быстро и безопасно домчат его западные ветры, «господствующие в больших южных широтах». И уж оттуда, от берегов Африки, возьмет он курс через Индийский океан в Тихий.

Жажда скорости стара, как и само передвижение. Нынешние скорости привели к представлению о малости земного шара. Головнину он был огромен. Огромность явственно возникала в океане.

Бег к югу приносил холод. Люди натянули фуфайки. За горизонтом, с правого борта незримо качался континент. Ночью при сильном волнении волны точно бы блестели. Этот таинственный блеск озарял передние паруса.

В феврале 1808 года русские заметили несколько пузатых судов со спущенными брам-стеньгами. Суда шустро меняли курс. «Диана» приблизилась. Брюхастые не обращали на нее никакого внимания: они были китов. «Такая сцена, — пишет Головнин, — была еще для всех нас новой, и мы с большим любопытством смотрели на проворство и неустранимость этих людей». Кто знает, не торчал ли на палубе одного из американских китобоев неистовый капитан Ахав, герой «Моби Дика»?

Неделю спустя мрачным утром предметность окрестностей

внезапно нарушилась. Головнина пригласил на палубу испуганный вахтенный офицер. Шлюп нес все паруса. И под всеми парусами... несся к высокой утесистой земле. Уже различались отдельные вершины, изрезанный, отрубистый берег. Никаких островов здесь не полагалось. Командир приказал лечь в дрейф. Лот не достал дна. Головнина осенило: «Fog-bank». И он велел следовать прежним курсом. Полагаю, ему пришлось дважды повторить приказание. (Десять лет спустя Джон Росс, искатель Северо-Западного прохода, «наткнулся» в Баффиновом заливе... на горы. Росс не вспомнил про эти «Fog-bank» и убрался восьмояси. Лишь много позже англичане убедились, какие штуки выкидывают туманы полярных морей.)

Миражи водных пустынь похожи на миражи песчаных: наявление дьявола, вестник несчастий. А несчастья непохожи на счастье: они не медлят, у них ворота настежь — заезжай. «Диана» вбежала в пролив Дрейка.

Не нрав, а норов у пролива Дрейка, под стать самому Френсису Дрейку, пирату и душегубу. «Мыс Горн — настоящий мыс бурь», — определяет французский географ Камилл Валло. Но с ним не согласен такой практик, как Лисянский, командир «Невы». Черт возьми, восклицает Юрий Федорович, да то, что приключается у мыса Горн, можно испытать и в Ла-Манше. «Я уверен, что, справившись в журналах судов Американских Соединенных Штатов, корабли которых плавают этим путем к северо-западным берегам Америки, можно обнаружить гораздо больше успехов, чем неудач».

Вилло беспристрастности ради признает положительное «качество» пролива Дрейка: тамошние сумасшедшие ветры отгоняют айсберги. Лисянский, очевидно, тоже ради справедливости признает отрицательное «качество» пролива Дрейка: величайшую удаленность от населенных пунктов, где мореход получил бы помощь.

В проливе Дрейка шлюп играл со смертью. Терпешнего термина «метеорологическая обстановка» в бумагах Головнина нет. Изъяснялся он выразительнее: шквал, мрачность, жестокие порывы.

В Южном океане громыхал шторм, а в узкости пролива была такая круговерт, что шлюп подчас волокло боком. Существует сравнение: «корабль носило, словно скорлупку». Скорлупке не страшны скалы и рифы, ее не расшибет вдребезги. Корабль в несколько сот тонн, увы, не скорлупка.

Совершая повороты, Головнин ставил фок: наддавал ходу, «пришпоривал коня», убегая от валов. Еще на острове Екатерины Головнин законопатил и залил смолою пушечные порты.

Но герметичность не была полной. Нижнюю палубу, прибежище команды, офицерские каюты захлестывало. Матросы, вымокшие до нитки, выносили воду ведрами. Океан и ведра! Прибавьте град, снег, рев, свист, скрип — вот шабаш, врагу не пожелаешь.

В отчете о плавании «Дианы» Головнин сослался на неудачников, обломавших зубы в проливе Дрейка. Он начал с Джорджа Ансона, атамана нескольких капрерских экспедиций середины XVIII века. Помянул испанский галион «Св. Михаил»: за сорок лет до «Дианы» испанец мыкался у мыса Горн полтора месяца и скормил рыбам десятки мертвцев. Назвал и капитана «Баунти» Уильяма Блая: этот мерзавец четыре недели пытался совладать с проливом Дрейка, да так и не совладал<sup>1</sup>.

Факты фактами. А все ж были Крузенштерн с Лисянским, были и другие. В обращении к истории не таится ль оправдание, адресованное Адмиралтейству? Пусть так. Подчеркнем другое: самолюбие не взяло верх над здравым смыслом. А здравый смысл диктовал отступление.

«Надежда была весьма слаба с успехом завершить мое предприятие, — рассуждает Головнин. — Ни малейших признаков к перемене ветра не было; ртуть в барометре стояла весьма низко, что по большей части во всех широтах выше тропиков означает продолжение западного ветра... С другой стороны, властычествующие в больших широтах западные ветры обещали нам скорый переход к мысу Доброй Надежды, где, исправя судно, дав время людям отдохнуть и запастись свежими пропризиями и зеленью, я мог продолжать путь...»

Резонно? Пожалуй. Но он не знал одного обстоятельства. Чрезвычайно важного. И обманулся.

### 3

Прыжок был великолепный — в девяносто три ходовых дня. Прыжок от рубежей Атлантического и Тихого к рубежам Ат-

<sup>1</sup> Блай, бывший штурман Кука, командовал в 1788—1789 годах кораблем «Баунти». Среди отъявленных тиранов в капитанском сюртуке Блаю по праву принадлежит одно из первых мест. В Тихом океане на «Баунти» вспыхнул мятеж. Капитан с несколькими соумышленниками был высажен на шлюпку, а мятежный экипаж обрел убежище на необитаемом полинезийском острове Питкерн. «Низложенный» Уильям совершил длительный щлюпочный переход и уцелел. Уцелел и остался Блаем: назначенный командиром военного корабля, довел команду до исступления; назначенный губернатором Нового Южного Уэльса (Австралия), «добился» восстаний колонистов. Судьба Блая, мятеж, поселение на острове Питкерн не однажды описаны историками и беллетристами. В 1962 году в Лан-Манше плавал близнец пресловутого корабля, специально построенный американцами для съемок фильма «Бунт на «Баунти».

лантического и Индийского. Ни повреждений корпуса или рангоута, ни больных илиувечных. Правда, свежего мяса достало лишь на пяток ден, а подстреленные альбатросы воняли водорослями.

Может, не следовало губить альбатросов? Ведь по древнему поверью в них трепетали души моряков-утопленников. Вскрик альбатросов, тревожный и тосклиwyй, звучит просьбой о панихиде. Головнин не выполнил тех просьб.

Да, альбатросов он встретил в пути. А потом — летучих рыб. Китов тоже встретил. Но не единого судна... Ах, если б случилось рандеву с каким-либо (исключая английский) кораблем! Тотчас мыс Доброй Надежды утратил бы для Головнина всякую привлекательность.

Никто ни о чем не упреждал командира русской экспедиции, и вот он в апреле 1808 года радостно переводит дух: «На рассвете 18-го числа, в 6 часов, вдруг открылся нам, прямо впереди у нас, берег мыса Доброй Надежды... Едва ли можно вообразить великолепнее картину, как вид сего берега, в каком он нам представился. Небо над ним было совершенно чисто, и ни на высокой Столовой горе, ни на других ее окружающих ни одного облака не было видно. Лучи восходящего из-за гор солнца, разливая красноватый цвет в воздухе, изображали, или, лучше сказать, отливали, отменно все покаты, крутизны и небольшие возвышенности и неровности, находящиеся на вершинах гор. Столовая гора, названная так по фигуре своей, коеи плоская и горизонтальная вершина изображает вид стола, редко, я думаю, открывается в таком величественном виде приходящим к мысу Доброй Надежды мореплавателям».

(Скоро уж сорок лет, как на сухое и твердое плато Столовой горы протянута канатная подвесная дорога. Минуты плавного подъема — и захлебнись турист редкостным зрелищем: на западе — серая с голубизной Атлантика, на востоке — прозелень Индийского океана. Братские объятья гигантов!)

Вероломство ветров не только в чудовищной силе, но и в слабости. Моряки парусных времен нередко испытывали почти ярость, когда после плавания, вымотавшего душу, теряли сутки за сутками близ давно желанной стоянки. Бессилие, досада, ощущение наглой издевки... Три дня немощь ветра не позволяла «Диане» отдать якоря в заливе Фолс-Бей.

Тут было несколько заливов. Самый неудобный — Столовый. На его берегу голландец ван Рибак опрометчиво заложил Капштадт (Кейптаун); дело сделалось давно, в 1652 году. Города — «от человека», да заливы-то — «от бога». И Столовый, открытый и незащищенный, нередко заглатывал корабли. Особо

бенно в пору жесточайших норд-вестов, с мая по октябрь. Капитаны предпочитали Фолс-Бей. Вернее, его продолжение, вдающееся в западный берег. В Симанской губе отлеживались на якорях десятки судов.

Сейчас в Фолс-Бее «квартировала» британская эскадра. Следовало условиться о салюте. Салютация — вопрос протокольный. Вопрос не столько офицерской вежливости, сколько державного престижа. Корабли, как посланники, представляют государство.

Лейтенант Петр Рикорд отправился на флагманский «Резонабль». «Диана» спокойно дожидалась невдалеке от стационарных батарей и пушек эскадры.

И вот тут-то началось нечто странное.

С соседнего фрегата «Нереида» быстро приблизилась шлюпка. Головнин обрадовался: старый знакомец, капитан Корбет. Алло, сэр! Надеюсь, не позабыт фрегат «Сигорс»? Да-да, «Сигорс», где вы командовали, а я, Головнин, служил волонтером. Ба! Что такое? Корбет резко кладет право руля и уходит от «Дианы», словно от зачумленной. Головнин улыбается: педант Корбет не желает нарушать карантинные правила... Однако почему не возвращается Петр Иванович? Что с лейтенантом Рикордом? Гм, странно.

Не русский лейтенант приложил на «Диану», а британский. На лице — официальная льдистость. Англичанин процидил несколько слов, Головнина прошибло потом. О проклятые зигзаги политики! О проклятые перемены галсов, совершаемые во дворцах и в министерствах!..

«Диана» ушла из Кронштадта в июле 1807 года. В июле того же года император Александр и император Наполеон лобзались на неманском плоту. Произошло тильзитское свидание. Императоры очаровали друг друга. Еще больше очаровались оба перспективой «раздела мира». И оба предали союзников: Александр — Англию, Наполеон — Швецию и Турцию. Но пункты тильзитского сговора оставались пока в секрете.

В сентябре и октябре «Диана» шла европейскими морями.

В те же месяцы французская дипломатия, возглавляемая такой пантерой, как Талейран, усилила натиск на Петербург, добиваясь формального разрыва России с Англией.

В первый день ноября 1807 года «Диана» покинула Портсмут. Неделю спустя последовала «громовая нота» из Петербурга в Лондон. Война была объявлена...

Фрегат Корбета приблизился к «Диане», с других кораблей прислали вооруженные баркасы. Сопротивление выглядело бы трагикомично. Громкое «Приз... Приз...» раздавалось в

ушах Головнина. Черт возьми, он не раз это слышал. Да только не в свой адрес. Но есть же паспорт! Есть бумага с сургучной печатью! Бумага, разрешающая мирное исследовательское плавание шлюпа. Вот извольте взглянуть, сэр!

Наверное, и этот лейтенант был охотником до призовых кушей. Наверное, он мысленно послал на головы лондонских дурней все молнии Африки. Поступил он, однако, осторожно и благоразумно. Начальству решать, не ему.

Начальство обреталось в Капштадте. Эскадрой временно командовал капитан Корбет. Головнин, конечно, знал, что его бывшие соплаватели не так-то просто выпускают из своих лап призовые суда. Плевали они на международное право. И все ж Василий Михайлович надеялся на вразумляющую силу лондонского паспорта.

Корбет отпустил Рикорда. Петр Иванович привез такое известие: в Капштадт послан нарочный; Корбет просит русского коллегу не покушаться на побег. Просьбу эту с молчаливой солидностью подтверждали пушки фрегата. Всю ночь на фрегате не спали. Всю ночь вооруженные баркасы стерегли «Диану». Не спалось и русским.

Отныне — и очень надолго — капитан Головнин как бы сменил офицерский мундир на дипломатический фрак. Головнина будто бы перечислили из ведомства морского министра Чичагова в ведомство канцлера Румянцева.

И Корбет, и командор Роулей, и вице-адмирал Барти уважали храброго моряка — аттестации Нельсона и Коллингвуда что-нибудь да значили. Но Головнин не полагался на личную благодарность вчерашних партнеров. В политике, как и в постели, на нее рассчитывает лишь тот, кому больше не на что рассчитывать. Василий Михайловичставил карту на лондонское Адмиралтейство.

Он писал письма, спокойные, доказательные. Письма вошли с окацией. У англичан есть выражение — «мертвые письма», то есть недоставленные. Погибающие моряки закупоривали такие письма в бутылки. «Бутылочная почта», — говорили они с горечью, и не без упоманий. Послания Головнина не были «мертвыми», их доставляли. Однако ответом была могильная немота.

Писал он и в Петербург. Пакеты не запечатывал, так пишут из тюрьмы. В архиве сохранился черновик его рапорта морскому министру России. Документ датирован январем 1809 года, помечен Фолс-Беем. Пленение длилось почти уж девять месяцев. Срок достаточный для роженицы, но не для британского Адмиралтейства.

Адмиралы уподоблялись банкирам. Банкиры знают, что такое «депозит». Депозиты бывают срочные и бессрочные. Первые возвращаются в обусловленное время, вторые — по требованию вкладчика. Лорды Адмиралтейства «отложили» русский шлюп до греческих календ. Головнин силялся установить хоть какую-то «срочность». В Капштадте принимали его учтиво. Учтивостью, комплиментами все оканчивалось.

А на корабле заканчивались припасы. Капитан хотел продать что-либо с «Дианы», на вырученные деньги купить съестное. Законники-чинуши воспротивились: как можно?! Ежели «Диану» сочтут призом, на ней должно сохранить и последний медный гвоздь.

«Я, — говорит Головнин, — прекратил выдавать порционные офицерам, довольствуясь с ними той же провизией, как и нижние чины». Какой же? Фунт морских сухарей на день, солонина. «Свежей провизии мы не имели ни куска, так же и никакой зелени не было».

Пленных полагается кормить, «задержанных вплоть до правительенного указания» можно, оказывается, брать измором.

«В таком критическом положении нашего дела Гом, английский купец, дал мне совет требовать важных пособий от вице-адмирала Барти, что, по его мнению, я был в полном праве сделать, будучи со шлюпом задержан вследствие молчания английского правительства. Я принял его совет и писал к вице-адмиралу Барти о сем деле, но ответа на мое представление он, однако ж, никакого не делал...»

Головнин старался хранить невозмутимость. Сдерживаться было все труднее. Положение обязывало спасти корабль, спасти экипаж. Но он ведь дал честное слово не предпринимать попыток к побегу. Излишняя щепетильность? Как знать, не в ней ли один из заветов порядочности?

Настал такой день (или такая ночь), когда Василий Михайлович принял решение, неслыханное в летописях мореплавания: одинокому кораблю, затертыму среди целой эскадры, кораблю, движения которого стеснены, зависят от капризов ветра, кораблю уйти из-под пушек береговых батарей, из-под огня судовой артиллерии. Уйти в пустынный океан. Навстречу свободе и... голоду. Голод был неизбежен: нельзя же закупать провизию на глазах у десятков соглядатаев. Но морскую, навигационную подготовку к дерзкому побегу Головнин провел тщательную.

«Я знал, — пишет капитан «Дианы», — что во всех гаванях и рейдах, лежащих при высоких гористых берегах, вет-

ры очень часто дуют не те, какие в то же время бывают в открытом море, а потому я хотел точно узнать, какое здесь имеют отношение прибрежные ветры к морским. На сей конец я часто на шлюпке езжал в Фолс-Бей, брал с собой компас и замечал силу и направление ветра».

Пленники нуждались только в норд-вестах. «Мы их очень долго ждали», — говорит Головнин. Но, дождавшись, не обращались: либо в заливе курсировали вражеские фрегаты, либо желанный ветер, засвежев днем, угасал вместе с вечерней зарей.

Час пробил в мае 1809 года. Норд-вест дул надежный, ровный. Флагманский корабль дремал с отвязанными парусами, эскадра тоже была не «одета». Судя по сигналам берегового поста, на юго-востоке лавировала какая-то корабельная пара, словно бы разыгрывая тогдашний вариант «военно-морской любви».

В сумерках на «Диане» началось поспешное и беззвучное движение. Якоря не выбирали, это было бы слишком долго и слишком шумно. Обрубили канаты. Поставили штормовые стаксели<sup>1</sup>. Момент был роковой. Головнин описал его по обыкновению сдержанно:

«Едва успели мы переменить место, как со стоявшего от нас недалеко судна тотчас в рупор дали знать на вице-адмиральский корабль о нашем вступлении под паруса. Какие меры были приняты нас остановить, мне неизвестно<sup>2</sup>. На шлюпе все время была сохраняема глубокая тишина... Офицеры, гардемарины, унтер-офицеры и рядовые — все работали до одного на марсах и реях».

То было предельное напряжение физической и нервной энергии, когда сам черт не брат и кровь гремит в жилах. Вообразите, как он идет, все больше окрыляясь парусами, отчаянный ходок, летучий призрак. Хлещет дождь, тухо гудит норд-вест, тьма кругом, ни огня, ни звезды, а на реях грота, фока, бизани — цепкие, двужильные моряки.

4

В старину «сухарничать» значило лакомиться, роскошествовать. Но морской сухарь — не ванильный, его не посмаку-

<sup>1</sup> Косые паруса треугольной формы.

<sup>2</sup> Любопытно было бы прочесть рапорт вице-адмирала Барти о столь позорном для престижа его эскадры упущении. Архивы британского Адмиралтейства, очевидно, хранят документацию, запечатлевшую уникальный подвиг Головнина. К сожалению, мне не удалось навести справки.

ешь. Циркуляр о довольствии войск предупреждал: длительное употребление сухарей вредно.

На «Диане» остервенело крошили ржаные ломти. Но и тех недоставало, рацион был уменьшен на треть. Питьевая вода цвела, разила топью. Варили солонину, которую корабельщина звала соленой ворсой, то бишь пенькой, нащипанной из старых смоленых тросов. Благо еще булькал в бочонках ром, припасенный давно, в Портсмуте. Стол был общий, беда равняет всех. Порыв, воспламененный удачливым бегством, не гас. «День и ночь мы несли все возможные паруса; офицеры и нижние чины были неутомимы», — гордится Головнин.

Русские капитаны-«кругосветники» не разводили чернил эмоциями. Но едва ль същется хоть один отчет без громкого восторга в адрес матроса. И это не вспученная квасом похвальба. Даже англичане, чужды осанне, признавали, что «руssкие моряки обладают всеми данными для того, чтобы занять первое место среди моряков мира, — мужеством, стойкостью, терпением, выносливостью»!<sup>1</sup> Что ж до Головнина, то он убеждался в этом постоянно. И не только на палубе, но и на суше, о чем расскажем позже, очутившись в Японии.

А теперь — Индийский океан. Натощак, говорят, ни в пляску, ни в работу. Океан понудит и плясать и работать. В шторм отхватишь трепака, в шквал потрудишься, как на молотьбе. Но ветер потакал беглецам. И это было главное. Кругло считая, шла «Диана» поболе сотни миль в сутки.

Чуть не в два месяца достигла она меридиана Тасмании. В Тасмании было английское поселение Хобарт. В Хобарте была провизия и пресная вода. Увы, Фолс-Бей не забудешь, от британцев как дресва во рту.

Шлюп огибал Австралию. Головнин правил к норд-осту. Ближайшим курсом держал он к Ново-Гебридскому архипелагу.

Незадолго до «Дианы» слева по борту оставила Австралию «Нева». «Сей корабль, знаменитый в летописях российского мореплавания», вел преемник Лисянского — Леонтий Гагемейстер<sup>2</sup>. Он не был в крайности, и Новые Гебриды его

<sup>1</sup> Цитирую анонимное «Путешествие в Санкт-Петербург в 1814 году с заметками об императорском русском флоте». Автор, английский корабельный хирург, человек, судя по книге, богатого морского опыта, в течение двух лет был прикомандирован к Балтийской эскадре.

<sup>2</sup> Л. А. Гагемейстер, уроженец Латвии, дважды обогнул земной шар, уточнил карты некоторых островов Тихого океана, построил на Байкале первые суда, пользовался на флоте известностью и умер капитаном первого ранга. «Старинным другом и сослуживцем», «сведущим и опытным офицером» называет Головнин Гагемейстера.

не манили. Головнину архипелаг снился, как снился Южный материк гениальному несчастливцу Педро Фернандесу де Кирсусу.

Отыскивая Индию, Колумб набрел на Америку. Отыскивая Австралию, Кирсус набрел на Новые Гебриды. Вдохновенные ошибки странников вернее приводят к цели, нежели выкладки картографов в халатах и домашних туфлях.

Не Колумб нарек Америку Америкой. Не Кирсус нарек Новые Гебриды Новыми Гебридами. Спустя сто шестьдесят восемь лет после Кирсуса явился Джемс Кук. Ему-то, как утверждает известный историк и литератор Яков Свет, по праву принадлежит честь открытия всей этой островной «галактики». Гебриды омывал близ Шотландии Атлантический океан; Тихий океан омывал отныне Новые Гебриды.

Южную часть архипелага, пишет Головнин, никто из «новейших мореплавателей» со временем Кука не посещал, «да упомянуто, что и прежде его один только Кирсус их видел».

Итак, Кирсус, Кук, Головнин. Матросы испанские, английские, русские — горемыки из Лимы, батраки Йоркшира, крепостные «Нееловой, Гореловой, Неурожайки тож».

Теперь «первый после бога» капитан Головнин оказывался ровней любому из экипажа «Дианы»: никогда не был он на островах Тихого океана. Новыми Гебридами начиналась новая полоса жизни. Лейтмотив оставался прежним — страсть к познанию мира. Лучше однажды увидеть, нежели сто раз услышать. Пронзительное счастье, в повседневности непримечаемое, видеть. И стараться познать, что видишь.

Аннатом... Тану... Эрроманго... Чужды уху названия, певучие и странные... Когда-то Петр, возводя Толбухин маяк близ Кронштадта, приказывал иметь «по вся ночи огонь великой и высокой». На острове Тану вулкан действовал исправнее любого маяка... Тому, кто долго шел лесной ли глушью, большаком или стежкой, отраден дым очагов. Над островом Аннатом поднимались дымы... Когда живешь в тесноте, месяцами все с теми же, других людей встречаешь и остролюбопытно и в порыве какой-то братской общности. Вон они, островитяне, выбежали на берег, устремились в однодревках наперерез буруну...

Французский географ XVIII века Шарль де Бросс расчленил Океанию на Меланезию, Микронезию, Полинезию; трехчленная схема укоренилась в науке. Новые Гебриды приписаны к Меланезии.

Острова Меланезии отняли, пожалуй, две трети океанийской суши. Новая Гвинея, будущее прибрежище Миклухо-Маклая.

лая, отняла, поди, семь восьмых Меланезии. Вулканической цепи длиною в девятьсот километров досталась малость. Однако Новые Гебриды казались морякам «Дианы» большими островами. И благодатными.

В сущности, изобилие было относительным. Не поборы душили земледельца — тропическое буйство зарослей. Да ведь после морского-то сухарика и затхлой жижицы чего слаще всеядной недели: что в среду, что в пятницу — трескай скромное. Говядиной, правда, не раздобылись, но свежая свинина вкуснее солонины. И воды ключевой не попили, но озерная здешняя вода ароматнее была той, что густо всплескивала в ослизлых судовых бочках. И молочного поста моряки не блюли: хочешь — козьим уладись, хочешь — кокосовым.

Новые Гебриды еще не пахли колониальными франками. На берегу кипело меновое торжище: товар на товар. Тут дело решалось не только «без долгих», но и вовсе без слов. А вот береговые работы, сбор этнографических сведений нуждались в общении. Нынешнего мима Марселя Марсо предвосхитил Федор Мур. Этот мичман, пишет Головнин, «имел удивительное искусство объясняться пантомимами».

Меланезийские острова запечатлены в дневниковых записях командира «Дианы». Лучшие тогдашние навигаторы ощущали в себе натуралистов и этнографов. Скудость специальных навыков искупалась точностью и правдивостью. Они исповедовали золотое правило: «Пишем о том, что видим; чего не видим, о том не пишем». И потому доныне не пали в цене наблюдения и коллекции, собранные пенителями морей.

Отличительная особенность записок Головнина — доброжелательность. Термины «дикие», «дикари» не звучат уничижительно, презрения к «цветным» не слышно.

Неверно утверждать, что лишь русские мореходы стремились к дружбе с туземцами. Многие европейские капитаны запрещали чинить обиды островитянам. Скорее из расчетливости, нежели из гуманности. Что ж до Головнина, то Василий Михайлович печатно высказал мысль высокую и благородную:

«Обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились, и если бы возможно было несколько сот детей из разных частей земного шара собрать вместе и воспитывать по нашим правилам, то, может быть, из числа их с курчавыми волосами и черными лицами более вышло бы великих людей, нежели из родившихся от европейцев. Между островитянами, без сомнения, есть люди, одаренные проницательным умом и необыкновенною твердостью духа. Такие люди хотя и считали европейцев при на-

чальном свидании с ними существами выше человека, но скоро усмотрели в них такие же недостатки, какие и в самих себе находили, и увидели, что они во всем равны. Между ними есть даже мудрецы, твердостью характера не уступающие древним философам, которых имена сохранила история».

Расизм живуч, как чертополох. И в наши дни неким джентльменам не по «ндраву» подобные рассуждения. И не только в тех случаях, когда речь заходит о темнолицых.

Цитированное выше итожило многолетние наблюдения Головнина. Но и на Новых Гебридах губы капитана «Дианы» не топырило презрение, глаза не мерцали надменно.

«Они нас встретили, как старых друзей, и помогали наливать воду и таскать дрова». «К счастию нашему, жители острова были к нам хорошо расположены». «Островитяне обходились с нами совершенно по-дружески. Они нам не сделали ни малейшего вреда и не причинили никакого беспокойства; но, напротив того, старались нам у служить, как умели». «Нам не удалось видеть ни одного человека, который имел бы хотя несколько злобную физиономию».

Джемс Кук, сойдя на берег, тотчас прибег к устрашению: велел палить из ружей. Меланезийцы, понятно, струхнули. Правда, один из тех, напоминает Головнин, повернувшись к великому мореплавателю, красе и гордости Альбиона, спиной, «ударил себя ладонью несколько раз по заднице; это есть обыкновенный вызов к бою со всеми народами Южного моря (Тихий океан)».

Капитан «Дианы» ни из ружей, ни из пушек не палил. Он не требовал, чтобы «дикие» положили копья. И не устраивал каре для охраны рубки леса и завоза пресной воды. Предосторожности, говорит Головнин, казались ему ненужностью. Да и лестно ли получить «обыкновенный вызов к бою»?..

Теперь предстояло плавание к Камчатке. Следовало опередить зиму, проскочить в Авачинский залив до ледостава. Но спешить надо было осторожно. Острова, мели и рифы Тихого океана положил на карты минувший, XVIII век; руки тогдашних открывателей сжимали несовершенные приборы, карты чистенько привирали.

Не отвергая риска, Головнин уповал на «расторопность и искусство экипажа». Даже ночью, когда ни зги, шлюп имел большой ход. 13 августа 1809 года «Диана» пересекла экватор.

Корабельщики издавна накопили короб примет. Французы непременно зачисляли в судовой штат голосистого петуха. Галльский петенька приносил счастье. Чилийцы и перуанцы опасались звенеть посудой. Ее звон чудился им погребальным

звоном по тонущему товарищу. Англичане не терпели, когда за борт падал какой-либо деревянный предмет. Датчан бросало в дрожь, ежели перед отплытием встречали они на улице хозяюшку в белом фартуке. У англичан и французов существовала шкала черных дней: второе февраля и тридцать первое декабря, первый понедельник апреля и второй понедельник августа. Женщина на корабле — это уж такой ужас, что и толковать нечего. Плевать за борт и сейчас опасное неприличие, как плевок в брадатый лик бога морей. Об альбатросах уже говорилось. Тринадцатое число пользовалось мрачной репутацией. Чертова дюжина! Но Головнин и альбатросов не запрещал стрелять и теперь не опечалился, когда пересек экватор именно тринадцатого. Напротив, он радовался скорому продвижению шлюпа, хотя скорость эта держала его в постоянном напряжении.

В один месяц «Диана» одолела жаркий пояс. И словно бы прощальным знаком возник на саже полуночного неба огненный шар с огненным хвостом. Вокруг мгновенно и грозно посветлело. Послышался удар, почти пушечный. И опять стало темно. Лишь шелест, всплеск, гром волн, посвист вант.

Потом наплывами пошла хмара. Ветер доходил «до высочайшей степени жестокости». Падали резкие холодные дожди. Косой град лупил в парусину, как дробь. А лица моряков все больше и все чаще освещались улыбками. И наконец, озарились бурной радостью.

Как не радоваться молчаливой сопке, этому мертвому вулкану? Как не радоваться угрюмым скалам, похожим на лагерь сатаны? Тут уж и Головнина покинула всегдашняя сдержанность: «В 12-м часу перед полуднем, ко всеобщей нашей радости, увидели мы камчатский берег. Берег, принадлежащий нашему отечеству!.. Радость, какую мы чувствовали при взрении на сей грозный, дикий берег, представляющий природу в самом ужасном виде, могут только те понимать, кто был в подобном нашему положению или кто в состоянии себе вообразить оное живо».

5

Точка на географической карте — «Петропавловск» — ставила точку на пути длиною в семьсот девяносто четыре дня. Из них триста двадцать шесть дней «Диана» несла паруса, четыреста шестьдесят восемь стояла на якоре. Самый долгий переход длился девяносто три дня: остров Екатерины — мыс Горн — мыс Доброй Надежды.

Прибытие в порт назначения не просто швартовка. Это праздник. И чудится, даже корабль ощущает разительность перемены. Он будто грустно задумывается. Как старый покинутый дом. А «жильцы» уже жадно, всей грудью дышат иной, береговой жизнью.

Им неприметна в первые дни печальная хмурость петропавловского бытия. Они пьют бесчисленные чашки крепкого чая. Они посещают «вечерки», попадья и дьячиха — первые дамы общества — потчуют их пирогами. Но куда приманчивее пирогов «русские молодые бабы и девки, которые часто собираются вместе, поют песни и пляшут». Головнин лукаво усмехается: на Камчатке «едва същется хоть одна Лукреция». Римлянку обесчестили, она закололась на глазах отца и мужа. Матросы «Дианы» не насищали, петропавловские подружки рук на себя не налагали, а лишь старались не попадаться отцам и мужьям.

Со ссылкой на «академический календарь» Головнин говорит, что Петропавловск значится в списках городов Российской империи. Вот уж истинно — «врут календари!» В Петропавловске не было ни единой улички; острожком звали камчатские жители свое сиротское местоположение.

Урбанист бы отчаялся. Моряки не отчаявались. Бог послал удачливые охоты на куликов, на уток, удачливые рыбалки. В окрестностях Петропавловска обнимала людей, истомленных морем, власть земли. Для пахаря она подчас жестока, эта власть; морякам сладостна.

Камчатская зимовка казалась почти беспредельной, а Головнин уже готовил шлюп к навигации 1810 года. Грузы, адресованные Охотску, обещался забрать транспорт «Павел». По весне, стало быть, «Диана» могла отправиться к северо-западным берегам Северной Америки.

Легла зима. Для здешних широт это мирное выражение вряд ли подходило. Не ложилась зима, как где-нибудь на Рязанщине, в Гулынках, — врываилась и бушевала. Да вдобавок ради пущего эффекта тряхнуло Петропавловск землетрясение. Оно, вспоминал Головнин, «было столь сильно, что многие из наших матросов, не видавшие прежде таких явлений и не постигая причины оного, до того испугались, что выбежали из казармы, читая во все горло разные молитвы, хотя, впрочем, люди сии были привыкшие ко всем опасностям».

Инструкция Адмиралтейства не предписывала капитану Головнину обозрение Камчатки. Обозреть Камчатку предписывала страсть, родившаяся в Итальянском дворце. Жаркую светлую променял он на нарты; сытный обед — на вяленую ры

бу и кипяток в юртах камчадалов; теплая постель — на ту, что стелет пурга... Головину сопутствовал Никандр Филатов, двадцатидвухлетний мичман.

Они оставили Петропавловскую гавань после святок, в середине января 1810 года. Вернулись в марте. Поездка не была увеселительной. Головин, в сущности, выполнил ту же работу, какую много позже взвалил на себя Антон Павлович Чехов, посетивший каторжный остров Сахалин.

Камчадалы жили скучно. Скудость не однозначна со скучностью: путешественников встречали радушно. Селеньица гнездились друг от друга верстах в сорока-пятидесяти. Головин с Филатовым добирались из одного острожка в другой. Вроде бы малый каботаж.

Страшных злоключений они не испытали. Испытали гнетущие морозы, бешеные бураны, усталость, которую называют свинцовой. Они пересекали замерзшие реки, огибали сопки, углублялись в чащи, полные валежника, ехали тундрой, переваливали Тигильский хребет.

Хребет пользовался у камчадалов столь же дурной славой, как мыс Горн у моряков. Однако здесь Головин был удачливее, чем близ мыса Горн. Капитан и мичман любовались «величественными картинами природы, со всех сторон в виде амфитеатра нас окружавшими; день был бесподобный. При совершенном безветрии и чистом небе солнце сияло в полном блеске; кругом нас, в отдаленности, горы были все выше той, на которой мы находились; они были покрыты снегом, изображали разные подобия: пирамиды, раскинутые шатры, зубчатые крепостные стены, башни, храмы и пр.; из вершин некоторых из них поднимался дым. Но над всеми ими преимущественное возвышались конусообразные вулканы: Ключевская и Тобачинская сопки. Первая из них была хорошо и явственно видна. Сколько ужасна страна сия была тогда, когда все сии страшные громады изрыгали пламень с полною яростью и силою! Следы чрезвычайных разрушений, ими произведенных, в Камчатке повсюду являются взорам путешественника, и нигде, может быть, они столь живо не представляются, как на Тигильском хребте! Непомерно глубокие пропасти, мимо которых мы проезжали, овраги и щелины, в коих мы ехали иногда; ужасные громады плитнику и больших камней, без всякого порядка кучами повсюду разбросанные, и, наконец, обгорелые каменья и расщелины в горах — все сие ясно и убедительно показывает, что Камчатка некогда испытала пагубные опустошения от землетрясения. Приятно взирать на диковинную страну сию, как на грозную и удивительную картину природы, но страшно помыс-

лить, что между сими бесчисленными горами, в дебрях и дремучих лесах, кой-где рассеяно, так сказать, по горсты людей».

Вот тут-то доминанта: очарованному созерцателю природы «страшно за человека»! Превосходный специалист выдается из ряда превосходных же специалистов: он поглощен народоведением, его точный глаз схватывает многие стороны народной жизни. Его сердцу не чуждо сострадание, его рассудку чужда идеализация.

Камчатские записи отличаются от новогебридских. На островах Головнин этнограф, и только. На полуострове он не только этнограф. В нем обнаруживается заботник, мыслящий государственно. Его патриотизм зряч. Он не Чадаев, но и он «не научился любить свою родину... с запертыми устами».

Камчатка для Головнина часть России. Бедная, дикая, далекая, окраинная, но часть России. Камчадал для Головнина — житель России. Бедный, темный, опоенный сивухой, но житель России. И Головнин сперва пишет, а потом предает тиснению, выпускает в свет для всеобщего, публичного чтения:

«...Несчастные сии люди всякий год терпят по нескольку месяцев голод, что здесь называется голодовать. В это-то время и питаются они березовою толченою корою, примешивая к оной небольшое количество сущеной и толченой в порошок рыбы, заготовленной для собак, кои наравне с своими хозяевами также по несколько дней сряду ничего не едят».

«Когда учредили в Камчатке областноеправление и ввели туда батальон, то целая толпа поселилась там чиновников и офицеров. Батальон разместили по разным частям сего полуострова. Сие размещение подало разным чинам благодидную причину разъезжать по Камчатке под предлогом смотров, свидетельств и пр., а в самом деле для того, чтобы иметь случай выменивать у камчадалов соболей и лисиц на вино... И все такие разъезды бывают на счет камчадалов, которые должны проезжающих доставлять на своих собаках от одного селения до другого. Мода путешествовать по Камчатке от чиновников распространилась даже на простых подъячих и солдат, которые просятся в отпуск, чтобы промыслить для себя и собак корму, но, купив вина, ездят по острожкам и обманывают камчадалов».

«Голодные чиновники, служащие в тех краях, не только что хотят быть сыты, но и богаты. Когда мы видим часто дерзких смельчаков, которые... обогащаются в самих столицах, грабя казну и ближнего, то чего же можно ожидать от подобных сим людей в странах, отдаленных от высшего правительства на многие тысячи верст, где они управляют народами, не имеющими почти никакого понятия о законах и даже не знающими грамоты? Справедливость заставляет сказать, что бывали там чиновники, которых одна часть побуждала служить, так сказать, на сем краю света, но весьма редко; и все такие были притеснены сверху за то, что нечем им было поделиться, а снизу оклеветаны и обруганы потому единственno, что ворам и грабителям не давали воли».

«Надобно знать, что всякий камчадал имеет между купцами своего кредитора, у которого во всякое время берет он в долг разные безделицы, не спрашивая о цене их, почему купец записывает в свою книгу за всякую вещь десятерную цену; так что иной камчадал по книгам должен ему рублей тысячу и более, в самом же деле и на сто не будет...»

Горестные заметки Головнин заключает трезвым балансом. Этот баланс сделал бы честь любому чиновнику министерства финансов. Правительству он, увы, чести не делал: расходы на содержание камчатского «аппарата» значительно превышали доходы от самой Камчатки. Область, по определению Головнина, оказывалась бесполезной.

Мысль его, однако, не сразу замирает на пессимистической ноте. Василий Михайлович усматривает «в сей стране» «достоинства и весьма важные». Он не бредит заводами и фабриками, отлично сознавая, что и в центре отечества индустриальный дым не густ. Торговля мнится ему рычагом, который поднял бы Камчатку из нищеты и закоснелости. Торговля с Японией и Китаем, с Филиппинами, Гавайями, Калифорнией.

Моряк прикидывает с пером и картою в руках: даже слабый парусный ходок может достичь Кантона или Манилы за 60 дней, Нагасаки или Гавайских островов — за 40, Калифорнию — за 45 дней.

Засим Головнин указывает предметы экспорта и предметы импорта. Проект развивается логически: частным лицам даже с тугой мешной столь махинное дело не в подъем. Необходима торговая привилегированная компания.

Головнин раньше всего моряк. И все же он то и дело рассуждает политико-экономически. Качество, присущее выдающимся путешественникам прежних времен. Ныне оно, сдается, утрачено. Специализация исследователей отняла возможность критического рассмотрения «общих проблем»? Быть может, так. Но лишь отчасти. «Общие проблемы» — удел иных лиц, должностных, официальных. Какой гидрограф, какой ботаник, какой геолог осмелится включить в свой отчет страницы, посвященные администрации, благосостоянию населения, торговле?

А моряк Головнин включал. Проектируя камчатскую компанию, он не следовал за теми, кто отводил внешней торговле роль второстепенную. Мысли о ее второстепенности высказывали и Радищев, и Чулков, идеолог российского купечества, и профессор Болугъянский, талантливый финансист и сподвижник Сперанского. Болугъянский совсем уж категоричен: «Внешняя торговля останется вечно постороннею целью России».

Капитан Головнин не «великий эконом», он не судит, «как государство богатеет», а прикидывает, как взбодрить одну лишь окраинную область. Здесь доброе согласье с Радищевым: «Чем больше торговля будет расширяться, тем больше людей она обогатит».

Не столь уж много лет спустя человек куда значительнее нашего моряка составил «Проект учреждения Закавказской компании». Этим человеком был автор «Горя от ума». Предложение Грибоедова не приняли. Писатель Тынянов в романе «Вазир-Мухтар» и литературовед Белинов в прекрасной монографии о Тынянове показывают и доказывают: буржуазный, антифеодальный проект смертельно страшил самодержавие после восстания декабристов.

Но предложение Головнина тоже не прошло, хотя печатно было изложено до «происшествия» на Сенатской площади. А вот шелиховское начинание — торговую компанию в Северной Америке — официально утвердил Павел. Павла же Петровича в потакке антифеодальной буржуазности не обвинишь, как и сына его, Николая Павловича. Где же, однако, зарыта собака?

## 6

«Я давно говорил, что Тихий океан — Средиземное море будущего». Не знаю, кому, где, когда говорил так Александр Иванович Герцен, но писал об этом в «Былом и думах».

Сдается, нечто подобное мерещилось и командиру «Дианы», размышлявшему о камчатском импорте-экспорте, а потом и при виде белой маячной башни Ново-Архангельска.

Задолго до Герцена и не очень задолго до Головнина «умные очи» Ломоносова были устремлены «с берегов вечерних на восток»: шаг за шагом «колумбы российские» открывали Америку, позвольте сказать, с другой стороны.

Старший современник Головнина, человек широкой сметки и коммерческого вдохновения, Шелихов уже осваивал северо-западные берега Северной Америки. А теперь, летом 1810 года, капитан коронного, правительенного шлюпа обменивался салютом с русским поселением на острове Ситх — высоком, сумрачном, гористом.

Колонизация, как всякое историческое событие, рождает и хулителей и хвалителей. Для одних она — делячество, для других — деяние. Для большинства хвалебщиков приемлема лишь колонизация «своя», осуществленная соплеменниками. А прочая — от лукавого.

По совести же следует признать, что «все хороши». Прогресс не спрашивается у сердца, действует, и баста. Где слишком, а где тишиком. Где звоном оружия, а где звоном золота. Иль вкрадчивым бульканьем спирта. И еще следует признать: былая прогрессивность капитализма не означает отрицания злещих его сторон.

Легко, однако, решать, когда История уже решила. Пустячное дело — после драки кулаками махать. Попробуйте махать во время драки. Головнин пробовал. Для него много значило не только что совершается, но и как совершается. И в этом нравственном критерии — грань его душевного облика.

Островитое побережье, откуда летом 1810 года капитану «Дианы» весело блеснул маячный огонь, издавна «поднимали» русские промышленники и мореходы: пушнину, «мягкую рухлядь», жадно поглощали рынок китайский и рынок российский. В царствование Павла получила солидные привилегии так называемая Российско-Американская компания.

В ее анналах множество романтических происшествий, мореходного геройства и геройства одиноких подвижников. Ее анналы пахнут онучами безвестных тружеников, дымом индейских и алеутских костров. Страницы ее в белесой соли морей, в траурной черни порохового дыма. А рядом — колонки цифри, ложь гроссбухов, свары акционеров, челобитные ободранных русских и нерусских «липок».

Головину довелось близко, пристально разглядеть Российско-Американскую компанию. Он и корабли водил в ее водах, он и ревизором являлся, он и документы в Петербурге листал. Но то уже было позже. А нынче, июньской ночью, держась под малыми парусами, командир «Дианы» услышал шум весел.

«...Мы приготовились на всякий случай встретить неприятеля, зная воинственный характер, мужество и отважность жителей северо-западного берега Америки, которые для приобретения добычи на всякую крайность покуситься готовы; и что нередко им удавалось, пользуясь оплошностью европейцев, делать на них нечаянные нападения с совершенным успехом».

Заметьте: Василий Михайлович лишь констатирует возможность нападения; в отличие от многих и многих капитанов не разражается бранью, не поносит туземцев. Воинственность не беспричинная. «Где же сырьется такой народ, — подчеркивает Головин, — который не покусился бы сбросить с себя чужеземное иго, коль скоро представится к тому случай!»

Не индейцами, а русскими оказались гребцы. Ну, к черту «меры»? О нет! Еще бабушка надвое сказала. И землякам велили оставить оружие в баркасе, по одному, неспешно всходить на шлюп. А на палубе никто не кинулся к ним с объятиями: команда сжимала ружья...

Рядовой колонист рекрутировался обычно из лапотных переселенцев. Переселенец старался ладить с местными «дикими». И вовсе не потому, что обладал высокими моральными качествами. Ну-кася уживись в таком трудном и новом крае, если ты забияка, несносный сосед! Тут действовал мужицкий здравый смысл, о котором с таким здравым смыслом говорил Белинский.

Но «в стране рабов, стране господ» взыскивали града, мечтали о вольной сторонушке не только пахари или ремесленники. Клейменый, вчистую обездоленный «класс преступников» (выражение Головнина) обманно завлекали за океан компанейские прохиндеи. А там, за океаном, острожники обретали «жизнь худшую несравненно, нежели та, которую ведут ссыльные в Сибири». Не позволительно ли усомниться в благом влиянии этого «класса» на коренных жителей? И, даже не будучи поборником «Устава благочиния и полицейского», можно думать, что переселенцы из этого «класса» не слишком ревностно поддерживали правопорядок на отдаленном берегу.

Головин наслушался рассказов (а может, и рассказней) о всяческих невеселых происшествиях. Если туземцы не упус-

кали случая пощипать пришельцев, то и старые каторжники не упускали темной ноченьки, дабы грабить грабителей. С волками жить, по-волчьи выть... Вот так обстояло дело.

Капитан и впрямь увидел страшноватые лица, отмеченные тавром отечественной юрисдикции, отведавшие палаческих гостинцев. Однако они и не помышляли о насилии. Напротив, съежились, оробели.

Все объяснилось быстро: звероловы решили, что пленены чужеземцами. (Загадка: чего было трусить, чего было терять?) Успокоился и Головнин. Улыбаясь, сказал, «что теперь они могут обнять своих соотечественников и говорить с ними; и когда матросы, получив на сие разрешение, начали с ними разговаривать, то они, услышав со всех сторон русский язык, были вне себя от радости и признались, что они приехали вооруженные саблями, пистолетами и ружьями. Но, подозревая, что мы англичане, на вопрос мой об оружии утаили, что они вооружены... После сей сцены один из промышленных, по имени Соколов, взялся быть нашим лоцманом; но не прежде рассвета взялся вести шлюп наш к гавани, по причине подводных каменьев, во входе лежащих».

Колонизация знает не только своих адвокатов и своих прокуроров, но и своих апостолов. Апостолы случались и такие и сякие. Но уж гуманисты среди них не водились. И водиться не могли. То была публика ухватистая, не щадящая ни других, ни себя.

Если бы в чертогах русского царя расположилась не одна галерея генералов от инфanterии и генералов от кавалерии, но и генералов от капитала, генералов от торговли, то кисть талантливого Доу воссоздала бы немало умных и жестоких ликов с прищуром проницательных недобрых глаз. Таким, думаю, был и коллежский советник Александр Андреевич Баранов.

Коллежский советник Баранов не отмечен даже в обстоятельной энциклопедии Брокгауза и Ефона. Но остров Баранова там указан. Так называли Ситху директора Российской-Американской компании в 1819 году, когда уж старика Баранова, зашитого в просмоленную парусину, приняло Яванское море<sup>1</sup>.

До смертного часа еще (или только) девять лет. А нынче, в июне восемьсот десятого, главный правитель русских поселе-

<sup>1</sup> А. А. Баранов (1746—1819) был первым главным правителем русских поселений в Америке. В 1818 году, прожив десяти лет в Новом Свете, отправился в Петербург на корабле «Кутузов» (командир Л. А. Гагемейстер). В пути, у острова Ява, скончался.

ний в Америке «учтиво и ласково» встречает моряков «Дианы».

Резиденция правителя — прочная, из толстенных, не охватишь, бревен, просторная, меблированная изделиями питерских и лондонских мастеров. В доме пылилась весьма обширная библиотека. Коллежский советник саркастически посмеивался: «Лучше бы господа наши директоры прислали к нам лекарей, ибо во всех компанейских колониях нет ни одного лекаря, ни подлекаря, ниже лекарского ученика».

Здешние берега Головнин хотел положить на точные карты. Гидрография района интересовала морское министерство. Офицерам и штурманам «Дианы» надлежало удовлетворить этот интерес. Не ради науки только. В первую очередь ради компаний — ведь она под «высочайшим покровительством»!

Ситха плавала в туманах огромной медузой. Ее как бы накрывал гигантский запотевший колпак. Ртуть никогда не опускалась за нулевую риску. Стояла бессменная осень, лишенная очарованья бабьего лета.

Туман — недруг гидрографа. И все же Головнин и его усердные штурманы Андрей Хлебников и Василий Средний кое-что спроворили бы за лето. Они успели бы, когда б не известие от Дацкова, «российского генерального консула, в республике Соединенных областей пребывающего».

Консул Дацков по должности держал ухо востро. Где-то и как-то он вызнал об английском корсаре. Корсар намеревался опустошить закрома Российской Америки. Коллежский асессор Барапов упросил флота лейтенанта Головнина оборонить Ситху. И «Диана» осталась близ Ново-Архангельска.

Корсар — всамделишный или мифический — не явился. Время — отнюдь не мифическое — было упущено. «Обозрение» северо-западных берегов в то лето не осуществилось.

Осуществилась малость: знакомство с американскими корабельщиками. Не раз литература, посвященная освоению северо-западного берега, костыляет бостонских и нью-йоркских торгашей. Спору нет, скупщики-перекупщики уменьшали барыш акционеров. Но сам-то Барапов им потворствовал. Может статься, скрепя сердце. Барапов, как сказали бы теперь, был реальным политиком. А реальность крылась в том, что колонистам, простите, жрать было нечего: из России продовольственные запасы улитой ехали. Куда бойчее оборачивались американцы.

Капитан «Дианы» раскланялся со шкиперами. Все было очень мило: ели, пили, поднимали тосты за президента и государя императора, бахали из пушек. Посреди кейфа «нечаянный

случай» позволил Василию Михайловичу сделать наблюдение, достойное разведывательной службы.

Очевидно, Джон Эббетс находился «под градусом»: шкипер «Энтерпрайза» ненароком показал капитану «Дианы» некий документ. Из него явствовало, что американцам «хотелось знать: сколь легко было бы для Соединенных областей перевеситься силою с компанией, если бы обстоятельства того потребовали...». Короче, прав Козьма Прутков: «Не для какой-нибудь Аниоты из пушек делают салюты» — торговля, конечно, торговлей, но и шпионить не худо.

Однако покамест не приходилось гордо отвергать пособничество; Головнин честно признает, что русские добытчики пушнины временной своею сытостью (относительной, разумеется) обязаны «коммерческому духу и спекуляциям американцев, то есть тех самых торговцев, которых попечители компании хотели отдалить совершенно от северо-западных берегов Америки». И сами, значит, не кормили, и другим не давали. «Вот, — замыкает Головнин, — до какой степени простирается дальновидность Американской компании: не обеспечив всегдашнего продовольствия своих колоний собственными средствами, настаивали они, чтоб и чужие народы не давали им пищи».

Итак, ожидание корсара-налетчика не позволило Головнину заняться гидрографией. Василий Михайлович занялся ею на другой год. И в других широтах.

## 7

Замечательный человек не всегда знаменит. Незамечательных знаменитостей легион. Это не парадокс, а факт обыкновенный. И сатана, говорят, в славе, да не по добру.

Мичманов и шкиперов, освоивших Дальний Восток, Чехов называл людьми замечательными; они работали «не пушками и не ружьями, а компасом и лотом».

Зимуя (после Америки) в сугробистом Петропавловске, Василий Михайлович Головнин составлял план описи Курильских островов. Чтобы видеть далеко, надо взобраться не только на мачту, но и на плечи предшественников.

Ровно за сотню лет до Головнина казаки-землепроходцы Анциферов и Козыревский переправились с Камчатки на северные Курилы. Геодезистов Евреинова и Лужина отправил царь Петр: «...До Камчатки и далее, куды вам указано...» Геодезисты достигли центральных Курил, четырнадцать островов обозначили. Многое трудился сподвижник и земляк Беринга —

Шпанберг Мартын. Этот и Японии достиг, да на беду карту составил, мягко выражаясь, не ахти точную<sup>1</sup>.

Подробный отчет о Курилах сделал сотник Иван Черный: две зимы оттосковал на островах, два лета плавал среди островов. Айнов-курильцев привел под скипетр Екатерины, этнографическую коллекцию подарил Академии наук.

Вслед за одним Иваном подался другой: Антипин, сибиряк, служивший у купца Лебедева-Ласточкина. Сотоварищем Антипину был иркутянин Дмитрий Шабалин. Добавили они к отчету сотника и «натурную» коллекцию, и записи, и чертежи.

Бригантина «Наталия» (на ней плавал Антипин) погибла. Шлюп «Надежда» (на нем плавал Крузенштерн) едва не погиб среди мелких и острых скал, повитых туманом. Те скалы Крузенштерн окрестил метко — Каменные Ловушки.

Ловушек было множество. Посейчас мореходство на Курилах никто не считает легким. А каково доставалось без локаторов и эхолотов, без радио и маяков, пусть хоть масляных? Сколько скитальцев приняли километровые глубины Охотского моря или бездна Тускароры в Тихом океане? Сколько судов загубили сулои, эти злобные всплески в Курильских проливах, короткие, сталкивающиеся волны, словно бы поставленные на попа? А сколько потерпевших крушение изныло у подошв куриящихся вулканов?

В мае 1811 года командир «Дианы», уже произведенный в капитан-лейтенанты и награжденный орденом святого Владимира 4-й степени, пошел к Курилам. Опись хотел он начать от пролива Надежды (меж 12-м и 13-м островами), продолжить ее к югу до японского острова Хоккайдо. Оттуда Головнин намеревался подняться к северу вдоль восточного побережья Сахалина и закончить навигацию обозрением Шантарских островов.

План был четкий, разумный, исполнимый. Но, как в таких случаях вещали старинные романисты, судьба уготовила Головнину нечто ужасное. Однако до этого несчастья остается еще два с половиной месяца.

<sup>1</sup> Писатель и географ Ю. К. Ефремов работал на Курильских островах после Великой Отечественной войны. Одна из задач его экспедиции заключалась в возрождении русских географических названий, похореных в долгие годы японской оккупации. «Перед нами, — пишет Ю. К. Ефремов, — встал вопрос: не использовать ли карту Шпанберга при восстановлении старых названий? К сожалению, это оказалось неосуществимым. Островов на своей карте Шпанберг нарисовал больше, чем их было в действительности. Возможно, что туман, застилая низкие перешейки, разделял целые острова на части, и Шпанберг изобразил по нескольку островов на месте единого острова. Контуры при этом получились такими искаженными, что невозможно было их опознать». Ю. К. Ефремов, *Курильское ожерелье* М.—Л., 1951.

Итак, Головнин приступил к описи, к тому негромкому делу, которое не требовало ни пушек, ни ружей. Познавание предполагает любовь к познанию; самая любовь, очевидно, тоже род познания.

Нынешний гидрограф согласится: да, именно любовь. Прибавит: и терпение. И еще выносливость. И еще навыки. И еще... И еще... Не тот стремительный бег по волнам, что дает удивительную наполненность пространством, нет, валкое, неспешливое движение, ожидание прилива или отлива, бесконечная лавировка и бесконечное пеленгование, бесконечные измерения логом, и эти чертовы «толкачики», как матросы прозвали сулои, и этот спуск и подъем гребного баркаса, когда свисток боцмана призывает всех наверх.

Остров за островом.

Пролив за проливом.

Залив за заливом.

«К вечеру вышли мы на западную сторону Кетоя, пройдя проливом между сим островом и Симусиром, которым ни одно мореходное судно (кроме курильских байдар, коих нельзя таковыми назвать) прежде всего не проходило, что свидетельствуют все изданные в свет путешествия по здешним морям. И как Лаперуз, пройдя первым между Утурупом и Симусиром, назвал сей пролив проливом Буссоля, по имени своего фрегата, географы и издатели карт наименование сие приняли; капитан Круzenштерн также имя своего корабля Надежды дал проливу между островами Матуа и Расшуа, коим он проходил, а потому и я назвал пролив между островами Кетоя и Симусира проливом Дианы».

Топонимика занята родословием географических названий. Написаны тома. Имена личные подчас обозначают не только личность, но и судьбу. Имена кораблей увековечивают экипаж, давно мертвый, как и корабль. Святые из святцев указывают на дату открытия. В именах, простоявших на морской карте, угадывается и этика капитанов-«крестных».

Желание обозначить собственное «я» на чертеже мира понятно. Головнин предпочитал, чтобы его «я» обозначили потомки. Или современники. (Он не просчитался.) Так сказать, самонаграждение претило Головнину. И уж вовсе был он чужд лизоблюдству, присущему, увы, многим уважаемым навигаторам. Тем, кто не только заливам, мысам и островам давал «фамилии князей и графов», но и на лысых одиноких скалах «рассаживал» «всех министров и всю знать». Примером, недостойным подражания, Головнин указывал Джорджа Ванкувера, хотя и ставил его, как профессионала, рядом с Куком. Ванкувер,

иронизирует Василий Михайлович, «тысячи островов, мысов и пр., кои он видел, роздал имена всех знатных Англии и знакомых своих; напоследок, не зная, как остальные назвать, стал им давать имена иностранных посланников, в Лондоне тогда бывших».

Ванкувер сварил демьянову уху; в отличие от крыловского героя англичане хлебали ее облизываясь. Нечего таить, русские мореплаватели, современные Головину, грешили низкопоклонством, хоть и не столь густым, но «тех же щей, да по-жиже влей». Круzenштерн, Лазарев с Беллинсгаузеном, Коцебу, Циволька, Пахтусов пользовались случаем «комплименты свои обнародовать всему свету» (упрек Головнина, адресованный «нынешнему мореплавателю»). Все они оставили на карте «мушиные следы» — государи и государыни, наследники и светлейшие князья, министры и начальники штабов... Впрочем, и десятилетия спустя пятнались карты именами тиранов и сатрапов.

Головнин не обращал мысленного взора в сторону петербургской Дворцовой площади, хотя и верил в добрые намерения «высшего правительства». Это уж много позже он скажет, что «не на всех тронах сидят Соломоны». Однако и теперь что-то удерживает капитан-лейтенанта от топонимической лести. Уж не гордость ли потомственного дворянина? Да ведь тут она уместна.

Суть, впрочем, глубже. Сколько атоллов именовали русским звуком русские мореплаватели? Множество. А сколько из них прижились и удержались? Единицы, верно. Ибо застревали в гортани туземца, забывались. Нередко, правда, с помощью европейских картографов. Но исчезали, и вся недолга.

Справедливость, утверждал Василий Михайлович, справедливость требует, чтобы населенные части земного шара назывались так, как они именуются жителями, а не так, как их «обзовет» первый попавшийся пришелец. Командир «Дианы», по свидетельству знатока курильской топонимики Ю. К. Ефремова, «тщательно учел географические сведения, которыми располагали местные жители — айны, уточнил айнские названия островов, их произношение и написание. Именно в том виде, как они записаны Головним, теперь восстановлено большинство названий отдельных Курильских островов».

Острова. Проливы. Ломаный курс. Череда однообразных записей: широты и долготы, глубины и направление течений, характер гаваней и абрисы приметных пунктов. В записях чаще всего: «туман», «мрачность», «мокрота».

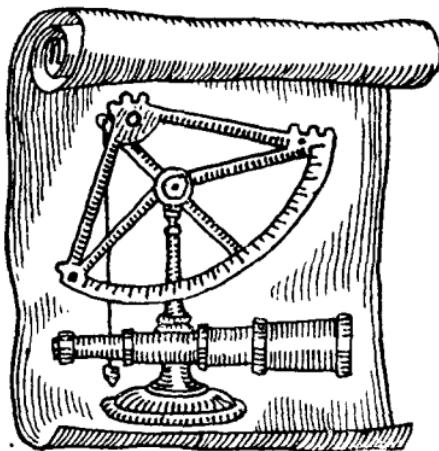
«Различные замечания, касательные плавания у Куриль-

ских островов», сделанные Головниным, содержат дюжину параграфов. Последний — в одну строку — гласит: «Скорое возвращение птиц глупышей к берегу означает приближение бури».

Глупыши не торопились. Но буря близилась. И нежданно рухнула на Головнина и нескольких его товарищей.

Глава начата цитатой: «Из четырех случаев моего отправления из Европы в дальние моря я никогда не оставлял берегов ее с таким чувством горести и душевного прискорбия, как в сей раз».

Глава заканчивается цитатой: «Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану»!» Яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значат эти слова? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».



## Глава четвертая

1

Поэт усмехался:

Я раньше думал: «лейтенант»  
звучит «налейте нам»...

Поэт пал на фронте Великой Отечественной, познав сверх меры, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». В том, что мнилось прежде, в игристом звучье веяла литературная реминисценция: гусарская поэзия, пушкинская проза и, может быть, мемуаристика.

«Налейте нам», удасть, забубенность и впрямь, как выражаются докладчики, имели место. Кипела кровь, кипел и пунш. Шалости, не всегда милые, прощались: быль, дескать, молодцу не укор. Толстой не заставлял Долохова пить вино, свесив ноги с третьего этажа: Долоховы так пивали. С воцарением Александра I хлопанье пробок заглушило павловские барабаны. (Аракчеевские еще молчали.)

Известный пакостник Фаддей Булгарин в юности щеголял уланом. Десятилетия спустя он вспоминал:

«Попирать, подраться на саблях, побушевать, где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время... Эта военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться никакой власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буйство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера... Стрелялись чрезвычайно редко, только за кровавые обиды, за дело чести; но рубились за всякую мелочь, за что ныне

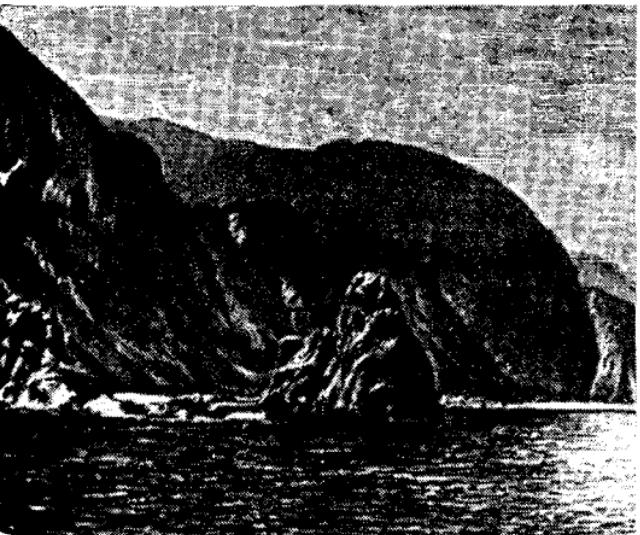
Японский писец.



Японский переводчик в придворном костюме.



Берег острова Хоккайдо.





П. И. Рикорд (с английской гравюры на стали).

и не поморщатся. После таких дуэлей наступала обыкновенно мировая, потом пир и дружба».

Поведав о сухопутных офицерах, Булгарин замечает:

«Во флоте было еще больше удальства... Вся гвардия и армия знала о дружбе и похождениях лейтенантов Давыдова и Хвостова, русских Ореста и Пилада, которые и жили, и страдали вместе, и дрались отчаянно, и вместе погибли»<sup>1</sup>.

Головнин знал обоих. Коля Хвостов был его ровесником и однокашником. Гаврила Давыдов застал в Морском корпусе унтер-офицера Головнина. Хвостов и Давыдов, как и Василий Михайлович, плавали в эскадре адмиралов Ханыкова и Макарова.

Вскоре они расстались. И уж навсегда. Головнин волонтером отправился на Запад, Хвостов и Давыдов — на Восток. Тоже в некотором роде волонтерами: кошельки у приятелей не оттягивали карман, а Российско-Американская компания предложила хорошее жалованье. К тому же Америка, «дикари», риск, желание славы — все было магнитом.

Плавали они много, умело, удачно, храбро. А в тот год, когда «Диана» ушла в дальний вояж, явились в курильские воды — Хвостов на вооруженном судне «Юнона», Давыдов на тендере «Авось». И явились отнюдь не тружениками гидрографии, но салиями, жрецами воинственного Марса.

Случилось же так вот почему.

Резанов — один из заправил Российско-Американской компании — участвовал в кругосветной экспедиции Крузенштерна. Камергеру поручили завязать дипломатические отношения со Страной Восходящего Солнца. В Японии, однако, ему указали на дверь.

Азиатская страна чуждалась грешного мира. Японцам настрого запрещалось любое знакомство с европейцами. Европейцам возвращалось проникновение в Японию. Но, как и всякая изоляция, японская изоляция была обречена. Вопрос времени,

<sup>1</sup> Ф. Булгарин, Воспоминания. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Спб., 1846.

Экземпляр мемуаров, хранящийся в Библиотеке имени Ленина под шифром с 73/95, испещрен язвительными восклицаниями читателя-современника. Одно из них особенно примечательно. На страницах 315—316 автор «Воспоминаний» как бы мимоходом лягает мертвого льва, утверждая, что «гениальный Пушкин» изъяснялся «более по-французски, думая этим придерживаться высшего тона», и что «похвала какого-нибудь князя» была ему дороже похвалы Державина. Рядом гневная отповедь неизвестного читателя: «Вздор и ложь: я знал Пушкина и помню, что он охотно и прекрасно говорил по-русски. Но Булгарин не может позабыть и переварить эпиграммы Пушкина». И далее: «Гнусная ложь: нельзя было держать себя благороднее Пушкина...»

и только. Быст час, государство-страус поневоле вытаскивает голову из песка.

Голландцы «просочились» в Японию. И тотчас начали опасаться прочих европейцев: конкуренция не входит в расчеты негоциантов. А японские властители полагали, что с них достаточно и гостей из Орандо<sup>1</sup>.

Изоляция продолжалась. Ни русские, ни англичане, ни американцы с нею не мирились. Когда японцы показали камергеру от ворот поворот, камергер обиделся. И за себя и за Россию.

Орудием мести избрал он лейтенантов Хвостова и Давыдова. Обида, известно, худший референт. Впрочем, Резанов личных чувствований не выраживал, напирал на то, что оскорблена Россия. До царя было далеко, а потому решай дело собственным разумением. Резанов и решил.

Он обладал дипломатическим пером — его инструкция туманна. Лейтенанты обладали офицерским молодечеством — они извлекли из нее вполне ясный смысл. И, не мешкая, ринулись жечь и громить.

А Петербург вовсе не помышлял о вооруженном столкновении с Японией. Не знаю, оправдался ли на небесах Резанов, умерший «от жестокой горячки», а на земле пришлось оправдываться исполнителям его воли. И оправдываться кровью. Покамест Адмиралтейств-коллегия рассматривала происшествие, обоих лейтенантов спроводили до суда в Финляндию, где «надайте нам» и познали, что «война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Оба не оплошали и в «трудной работе». Дрались они отчаянно, их представили к отличию. Александр I ответил: «Не получение награждений в Финляндии послужит сим офицерам в наказание за своевольство противу японцев».

Огорчительно, но вместе и радостно: от суда моряки избавились. Обосновались они в столице «до востребования». Давыдова приютил вице-адмирал Шишков (известный в незавидном качестве ретрограда). Шишков понудил молодого человека перебелить путевые записки. Их издали в 1810 году. Ни автора, ни его закадычного друга уже не было в живых.

Погибли они так. Пили на Васильевском острове с капитаном Вулфом. (У этого американца Резанов некогда купил «Юнону».) Насандалившись, потопали восьмови. Стояла осенняя ночь. Исаакиевский мост развели, пропуская баржу. «Э, где наша не пропадала!» — лейтенанты прыгнули на бар-

<sup>1</sup> Так в Японии называли Нидерландскую республику, зная, что ее возглавляют члены Оранского дома. Королевской династией они стали с 1815 года.

жу, с баржи хотели сигануть на мост, на беду промахнулись. Больше их не видели.

Книгу «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова» внимательно, с карандашом читал Головнин.

Там, где Давыдов рассказывает, как русские чиновники научили малые народности Севера лгать и изворачиваться, Головнин пишет: «Да и как же быть сему иначе? Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Там, где Давыдов рассказывает, как островитян заставляют присягать на верность русскому царю, Головнин пишет: «Приравнивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

Там, где Давыдов рассказывает о православных миссионерах, Головнин пишет: «Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения своих карманов». И далее: «Поступки человека к человеку по неволе заставляют сомневаться в бытии божием»<sup>1</sup>.

Однако с этим сочинением познакомился Головнин не в десятом году, а много позже. Теперь же ему пришлось платить за разбитые горшки.

## 2

К забывчивости склонны обидчики. Обиженные к забывчивости не склонны. Век спустя после похождений «Юноны» и «Авось» была в Иокогаме издана книга, где имена Хвостова и Давыдова сопровождались следующими строками: «Память о них, изгладившаяся в России, живо сохраняется до сего времени в Японии, факт, с которым нам необходимо самым тщательным образом считаться, когда мы рассуждаем о психологии отношений японцев к русским». Это утверждалось в девяносто девятом. Легко вообразить «психологию отношений» в восемьсот одиннадцатом.

«Кунашир» — по-айнски «Черный остров». Леса ли чернят, вулканический ли пепел?.. Головнину же Кунашир и впрямь показался черным.

<sup>1</sup> Экземпляр книги Г. Давыдова, читанный В. М. Головнином, находится в библиотеке писателя Вл. Лидина. «Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменившего мореплавателя... В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека». Вл. Лидин, Наедине с книгами. Журнал «Новый мир», 1957, № 6.

Головнин охотился за двумя зайцами: хотел пополнить трюмы провизией, дровами, пресной водою; хотел изучить неизвестный европейцам пролив между Кунаширом и Хоккайдо. Но едва «Диана» приблизилась к Черному острову, как хозяева послали ей ядерные гостицы. Головнин вгорячах едва не ответил орудийным огнем. Хладнокровие победило. Головнин рассудил, что «без воли правительства начинать военные действия не годится».

Японцы избегали пришельцев. Торговали заочно: припасы оставлялись на виду, моряки, забирая их, на виду оставляли деньги. И дровишки матросы рубили и воду наливали без помехи. Крепость молчала. Головнин радовался: японцы, кажется, убедились в миролюбии русских.

Потом было получено приглашение посетить «главного начальника». На берег отправились капитан, штурман Хлебников, мичман Мур, матросы Симонов, Макаров, Шкаев, Васильев и толмач-айн Алексей. Офицеры были при саблях; карманный пистолет штурмана годился лишь как сигнальный.

В крепости состоялась чайная церемония. Подали табак и трубки. Японский чиновник в шелковом халате и с железным жезлом в руках спрашивал то же, что спрашивают обычно островные губернаторы: назначение экспедиции, название корабля, в чем нужда мореходов. Головнин отвечал, курилец Алексей толмачил. Хозяин олицетворял ласковость. Аудиенция заканчивалась в «обстановке взаимопонимания». И вдруг все решительно переменилось.

Головнин описал роковое кунаширское свидание:

«...Начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменил тон: стал говорить громко и с жаром, упоминая часто Резаното (Резанов), Николай Сандреич (Николай Александрович)<sup>1</sup>, и брался несколько раз за саблю. Таким образом сказал он предлинную речь. Из всей речи побледневший Алексей пересказал нам только следующее: «Начальник говорит, что если хоть одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут». Ответ был короток и ясен: мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили с своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтоб мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвиста-

<sup>1</sup> Так звали лейтенанта Хвостова. (Прим. Головнина.)

ли подле самой головы Хлебникова. Между тем японцы успели схватить Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке.

Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти три часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суще, саженях в пяти от воды, а японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелы и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и копьями, окружили нас у шлюпки...

В крепости ввели нас в ту же палатку, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом, а потом еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее... Кругом груди и около шеи вздты были петли, локти почти сходились, и кисти рук связаны были вместе; от них шла длинная веревка, за конец которой держал человек таким образом, что при малейшем покушении бежать, если б он дернул веревку, руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула...

Я во всю мою жизнь не презирал столько смерть, как в этом случае, и желал от чистого сердца, чтобы они поскорее совершили над нами убийство... Наконец, они, сняв у нас с ног веревки, бывшие под икрами, и ослабив те, которые были выше колен, для шагу, повели нас из крепости в поле и потом в лес.

Поднявшись на высокое место, увидели мы наш шлюп под парусами. Вид сей поразил мое сердце; но когда Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович! Взгляните в последний раз на «Диану», яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой, — думал я, — что значит это слово? Взгляните в последний раз на Россию; взгляните в последний раз на Европу! Так. Мы теперь люди другого света. Не мы умерли, но для нас все умерло».

Великодушные поступки Мура и Хлебникова при сем случае еще более терзали дух мой: они не только не упрекали меня в моей неосторожной доверенности к японцам, ввергнувшей их в погибель, но даже старались успокаивать меня и защищать, когда некоторые из матросов начинали роптать, приписывая гибель свою моей оплошности. Я признаюсь, что за упреки тех матросов ни теперь, ни тогда не имел против их ни малейшего неудовольствия: они были совершенно правы».

Ладно, матросы были правы по-своему. Но вправе ли историки на правоту «по-своему»?

Японские авторы единодушны: Хвостов с Давыдовым — пираты. Русские авторы единодушны: захват Головнина — вороломство.

Попытка встать «поверх барьеров» всегда рискованна. Не знаю, каково досталось Дмитрию Позднееву, но он таки попытался заглянуть по обе стороны «баррикад»<sup>1</sup>.

Позднеев выгораживает соотечественников: экипажи «Юноны» и «Авось» нанесли ущерб лишь военным объектам. Ядра и пули историк наделяет качеством историков: избирательностью. Однако Позднеев объясняет и антиголовнинскую акцию на острове Кунашир. Экспедиция Хвостова, говорит он, взбудоражила японцев, заставила «изучать своего врага».

Япония и Россия почти не знали друг друга. Соседи могли повторить афоризм Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Интерес возник отнюдь не академический. Японские власти шлют сведущих чиновников на порубежные острова; японские власти поручают выбирать из голландских книг известия о России; японские власти осуществляют некоторые административные и военные меры. И выходит, что пленение русского офицера было не столько местью, сколько захватом важного информатора: японцы взяли «языка»...

Проводив Головнина к японскому начальнику, лейтенант Рикорд, старший офицер шлюпа, хлопотал в ожидании ответного визита вежливости. Усилия Петра Ивановича прервали выстрелы и крики. Потом наступила тишина. Ворота крепости наглухо затворились. Берег обезлюдел.

Страшные подозрения охватили Рикорда. Но Петр Иванович, подобно Головнину, прошел долгую боевую выучку — он начал действовать без промедления. Шлюп снялся с якоря и приблизился к берегу. Рикорд надеялся устрашить японцев; устрашив, завязать переговоры.

Японцы если и напугались, то не стали ждать парламентера, а дали слово береговой батареи. «Диана» расплатилась сполна, подавив батарею на стосемидесятом залпе. Однако, выиграв артиллерийскую дуэль, Рикорд, в сущности, ничего не выиграл: неприятель укрывался за крепостными валами.

<sup>1</sup> Дмитрий Позднеев, Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к Материку Азии и России. Т. 2. Иокохама, 1909.

Команда «Дианы» готова была броситься десантом. Рикорд мгновенно прикинул: пять десятков моряков и... Сколько их там, на этом Черном острове? Пусть десант и одержит победу, но что будет с опустевшей «Дианой»? Не сумеет ли недруг пустить корабль ко дну?

«С горестными чувствами, — признается Рикорд, — оставили мы залив Измены, по справедливости названный сим именем офицерами шлюпа «Диана», и пошли прямейшим трактом к Охотскому порту».

Плавание выдалось спокойное, но «душевное уныние и скорбь» тенью скользили по кораблю. Несчастье — реактив: оно явственно определяет человеческие отношения. Головнин был, как говорится, застегнут на все пуговицы. Его внешняя холодность устанавливала «дистанцию». Теперь его сдержанность никого не сдерживала, субординация не стопорила движения души. Можно уважать не любя. Можно, пожалуй, и любить не уважая. Любовь плюс уважение — сплав редкостный. Любви и уважения удостаивался не каждый командир корабля. Головнин удостоился.

Горше всех печалился Рикорд. Василий Михайлович был ему как побратим. Петр Иванович обладал памятью сердца, заметы Рикорда, впоследствии опубликованные, трогательно-минорны.

«Я жил в каюте, которую 5 лет занимал друг мой Головнин и в которой многие вещи оставались в том же порядке, как были положены им самим в самый день его отъезда на злополучный берег; все сие напоминало весьма живо о недавнем его присутствии. Офицеры, входившие ко мне с докладом, часто по привычке ошибались, называя меня именем-отчеством Головнина, и при сих ошибках возобновляли скорбь, извлекавшую у них и у меня слезы. Какое мучение терзало душу мою! Давно ли, думал я, разговаривал я с ним о представлявшейся возможности восстановить доброе с японцами согласие, которое было нарушено безрассудным поступком одного дерзкого человека, и в чаянии такого успеха мы вместе радовались и душевно торжествовали, что сделаемся полезными своему отечеству. Но какой жестокий оборот последовал вместо сего?.. Такие размышления доводили меня до отчаяния во всю дорогу»<sup>1</sup>.

Начальником порта служил в Охотске капитан 2-го ранга Миницкий. Рикорд с ним обнялся: однокораблиники, гардемарини, волонтеры. Выслушав Петра Ивановича, Миницкий поник.

<sup>1</sup> В интимном дневнике он еще красноречивее: «Последовавшее 11 июня 1811 года с нами при острове Кунашир несчастье помрачило мой рассудок. Волнующиеся мои мысли везде представляли мне толпы соединенных бедствий, стремящихся поразить меня».

Умри Головнин в океане... Ну что ж, старый моряк сэр Гемфри Джилберт, дыша на ладан, молвил: «В море мы так же близки к небесам, как и на земле». Но попасть в лапы японцев, этих лютых ненавистников христиан? Худшего не придумаешь!

Рикорд с Миницким мужали на палубах. Палубы не место для плакс. Рикорд с Миницким не хотели, как говорят на флоте, отопить реи, то есть наклонить их в знак траура. Головнин оставался в строю. Как корабль, гибель которого недостоверна.

Офицеры изготовили рапорты морскому министру и генерал-губернатору Сибири: доложив о происшествии, ходатайствовали о снаряжении поисковой экспедиции. Рапорты отправили с нарочным.

Ну, что еще? Сиди у моря и жди погоды? Но бумага, не секрет, зачастую ложится под сукно. К тому же Петром Ивановичем вдруг овладело беспокойство. Черт подери, не заключат ли там, под шпилем Адмиралтейства, что старший офицер «Дианы» оплошал и, мягко выражаясь, несколько преждевременно ретировался из залива Измены? О-о, дьявольщина! Надобно ехать, надобно мчаться в Петербург! А Миницкий не выдаст. Пока Петр Иванович туда-сюда, Михайла Иванович присмотрит за «Дианой», рачительно распорядится, чтоб шлюп по весне ушел в плавание.

Рикорд оседлал коня.

Моряк верховой что кавалерист марсовой — не орел. А осенняя дороженька на Иркутск скатертью стелилась лишь варнакам, беглым каторжникам. В тогдашнем «Реестре генеральных трактов» пролегающих от Москвы до границ Российской империи, она и не значилась. «Генеральные» и те были костоломками, чего ж сулила дорога без верстовых столбов?

«Я должен признаться, — жалуется Рикорд, — что сия сухопутная кампания была для меня самая труднейшая из всех совершенных мною: вертикальная тряска верховой езды для моряка, привыкшего носиться по плавным морским волнам, мучительнее всего на свете! Имея в виду поспешность, я иногда отваживался проезжать две большие в сутки станции, по 45 верст каждая; но тогда уже не оставалось во мне ни одного сустава без величайшего расслабления; самые даже челюсти отказывались исполнять свою должность».

Поездку в Иркутск оплачивал Рикорд не только из собственного кошелька, но и месяцами сокрушительной «вертикальной тряски». Да еще падением с крутых косогоров вместе с не-подкованной лошадью, ночными стужами, перемесью дождя и снега. О, эти нескончаемые тропы в краю огромном,

грозном, гористом, таежном! Как тут не согласиться с невеселой юмористикой Петра Ивановича: путешествуя из Охотска в Иркутск, «нельзя ручаться за сохранение глубокими мыслями наполненной головы».

Голову-то он сохранил. Да вот «глубокие мысли» получили неожиданное направление. Лейтенанту с порога отказали в по-дорожной: Санкт-Петербург не принимал Рикорда, царь повелел ему убираться в Охотск, морской министр «не удостоил разрешением содействовать» вызволению пленных.

Недосуг было «вышнему» начальству: надвигался вал Бона-партова нашествия. Какие еще там пленные?! Какие еще там японцы?! Ах, господа, господа, ну куда же вы сами-то смотрели? Нет-с, милостивые государи, теперь уж как хотите, как хотите... «Вышнее» начальство вершило «вышние» дела; в большой игре частностями пренебрегают; мораль и политика неслияны, как масло и вода; об отношениях государства и личности пусть размышляют те, кому не вверено государство... Словом, Петербург умыл руки. Возиться с освобождением верных подданных милостиво препоручили довольно-таки мелкой сошке — иркутскому гражданскому губернатору Трескину.

Для Рикорда губернатор был «посторонней властью». Как! Офицеру встать под начало берегового гражданского чиновника? Петр Иванович досадовал. Но именно «посторонняя власть», именно Трескин обнаружил к Головину сердечное расположение, и Рикорд смирился.

Трескин хорошо понимал, что умолчание о спасательных мерах равно отказу от них. Но Трескин не хуже того понимал, что умолчание можно истолковать по-своему. Рикорд схитрил: надобно, дескать, завершить опись южных Курил. Трескин смекнул: лейтенант рвется на Кунашир, в залив Измены, чтобы вступить в переговоры с японцами. Губернатор не перечил. Он вдобавок снабдил Рикорда письмом к японскому начальству. Понятно, послание губернатора не обладало весом министерского (не говоря уж царского), однако было документом.

Живя у хлебосольного Трескина, Петр Иванович познакомился с «природным японцем Леонзаймо». Человек этот впоследствии досадил Рикорду. Правду сказать, Леонзаймо не стоит побивать каменьями. Ему-то ведь тоже досадили. И очень! Он был схвачен на острове Итуруп матросами хвостовской «Юноны», точно так же как японские солдаты схватили на Кунашире Головнина. Из сибирского плена Леонзаймо пытался бежать. Намерение опять-таки не злодейское. Его поймали, он едва выжил, затаился. Его подспудное негодование и понять можно и оправдать.

А наш-то Петр Иванович, ничтоже сумняшеся, возложил на пленника радужные надежды: и переводчиком-то он будет (Леонзаймо выучился русскому), и ходатаем за Головнина, и советчиком, и... И бог весть еще кем. Столь приятные упования баюкали Рикорда на обратном пути, сливаясь с плавно-увалистым бегом кибитки. Но вот и Охотск...

В Миницком Рикорд не обманулся. Порт, где тот хояйничал, неустроен был и беден, но Михайла Иванович исхитрился снарядить «Диану» по первому разряду. Больше того, пополнил экипаж за счет местного гарнизона. И еще больше: отдал под команду Рикорда бриг «Зотик». Не канцелярщина действовала, а пружины флотского содружества.

Тщательные приготовления завершились принятием на борт «Дианы» еще шестерых (кроме Леонзаймо) японцев-рыбаков, потерпевших крушение близ Камчатки. Рикорд ликовал: в Японии томятся семеро русских, в России нашлось семеро японцев. Баш на баш. Душа на душу — чем не размен пленными!..

В тот июльский день, когда «Диана» и «Зотик» выбрали якоря, Багратион начал отход к Смоленску. В тот августовский день, когда моряки увидели дым курильского вулкана, запылал Смоленск. А в тот день, когда «Диана» уже стояла в заливе Измены, ударили Бородинский бой.

Один из великих американцев как-то сказал: «Если бы человек мог выбирать время для своего рождения, то, конечно, его выбор пал бы на век революции». Эмерсон тут же прибавил, что эта «эпоха хороша лишь в том случае, если мы сумеем воспользоваться ею».

Время рождения Головнин «выбрал» без промашки. Время вместило многое. Может быть, слишком многое. Но фортуна «обнесла» Головнина двенадцатым годом. Ветер не прошелестел над «Дианой» шелестом знамен Великой армии. Бородинские пушки не заглушили океанский прибой. И не порыжели в отблесках московского пожара плотные морские туманы...

Рикорд хранил письмо иркутского губернатора к начальнiku острова Кунашир. Леонзаймо обязался перевести письмо на японский. У берегов Курил текст был изготовлен. Его размеры, к удивлению Рикорда, значительно превышали записку Трескина. Петр Иванович почувствовал, что в заливе Измены опять запахло изменой.

Правда, он не торопился оставлять Кунашир. Ведь на борту шлюпа находились шестеро японских рыбаков. Одного из них Рикорд послал на берег уверить в мирных целях «Дианы». Рыбак вернулся через несколько дней. Результат

был горьким: кунаширское начальство не желало разговаривать с русскими.

Да и с японским гонцом обошлись на острове неласково. Не позволили ни отдохнуть, ни ночевать в селении, сторонились как прокаженного, изъяснялись сквозь зубы. Дело-то в том, что согласно законам каждый японец, общавшийся с чужеземцами, не считался благонадежным: иностранец — загодя инакомыслящий; подданный — загодя предатель; общение первого со вторым — подозрительно и предосудительно. Глубоки азиатские корни!..

Наконец Рикорд, как ни опасался потерять единственного переводчика, решил послать в крепость Леонзаймо. Его сопровождал один из японцев-рыбаков, спасенных русскими близ Камчатки.

Парламентерам вручили три записи.

Первая гласила: «Капитан Головнин с прочими находятся на Кунашире».

Вторая гласила: «Капитан Головнин с прочими отвезены в город Матсмай, Нагасаки, Эдо».

Третья гласила: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Леонзаймо и рыбак уехали.

На «Диане» ждали ответа, страшась и надеясь.

Минул день. Другой минул. Еще один.

И ответ: капитан Головнин и прочие убиты.

4

Ровно за год до ужасного известия, полученного Рикордом в августе 1812 года, Головнина и других доставили с Кунашира на остров Хоккайдо.

У связанных пленников глаза не завязывали. Пленники видели селения и население. Японцы сбегались толпами. Еще бы! Вон они, эти неведомые северные варвары! Быть может, те, что разбойничали несколько лет назад?

Нет народа, признающего жестокость своей национальной чертой. Ею одаривают иноплеменников. В этих измышлениях правды как в изысканиях, над которыми трунили Ильф с Петровым: «О, загадочная славянская душа!», «О, загадочная европейская душа!»

Рассказни о людоедстве чужаков — кадило, раздуваемое с умыслом: ожесточая сердце, они размягчают мозг. «Азиатская злобность» — категория европейской выделки. И наоборот. Обид мешок. Но от этого жестокость не становится национальной чертой.

«Лютыми ненавистниками христиан» называл японцев Рикорд. «Вероломным народом» назвал японцев Головнин. (Правда, добавил, что назвал «в сердцах».) И вот он, его офицеры и матросы, горстка безоружных людей с репутацией насильников, вот они бредут через горы, реки, вот они среди этих «лютых» и «вероломных».

Цитирую Василия Михайловича Головнина с удовольствием, редко выпадающим на долю «цитатчика»:

«Жители со всего селения собрались на берег смотреть нас; из числа их один, видом почтенный старик, просил позваления у наших конвойных попотчевать нас завтраком и саке, на что они и согласились. Старик во все время стоял подле наших лодок и смотрел, чтоб нас хорошо кормили. Выражение его лица показывало, что он жалел нас неприворно».

«Хозяин дома, молодой человек, сам нас потчевал обедом и саке. Он приготовил для нас постели и просил, чтоб нам позволили у него ночевать, так как мы сильно устали».

«При входе и выходе из каждого селения мы окружены были обоего пола и всякого возраста людьми, которые стекались из любопытства видеть нас. Но ни один человек не сделал нам никакой обиды или насмешки, а все вообще смотрели на нас с соболезнованием и даже с видом неприворной жалости, особенно женщины; когда мы спрашивали пить, они наперевив друг перед другом старались нам у служить. Многие просили позваления у наших конвойных чем-нибудь нас попотчевать, и коль скоро получали согласие, то приносили саке, конфет, плодов или другого чего-нибудь; начальники же неоднократно присыпали нам хорошего чаю и сахара».

Можно и продолжить. Но есть особый интерес в том, чтобы перевести стрелки Истории вперед. Почти на столетие вперед. Дальний Восток в зареве войны. Два хищника борются, спутав лапы. Императорская Япония одолевает императорскую Россию. Коммерческие пароходы везут пленных, захваченных на сопках Маньчжурии, на павших твердынях Порт-Артура, в кипящих гребнях Цусимы. Пароходы везут русских мужиков в папахах и бескозырках. И господ офицеров тоже везут, порт-

артурским даже оставлено оружие. Пленных — десятки тысяч. И тысячные толпы смотрят на них. На правнуков моряков «Дианы» смотрят правнуки тех, что жалели Головнина и еще шестерых.

И опять-таки свидетельства современника, свидетельства русского офицера:

«Толпа любопытных на улицах была удивительно сдержанна, молчалива, прилична... Не было слышно ни громких возгласов, ни резкого крика; не верилось, что эта толпа принадлежала «некультурной азиатской» Японии, как много лет называли эту страну в далекой России».

«Население как в самом городе, так и в окрестностях удивительно корректно, вежливо относится к пленным врагам своей родины; было множество случаев, когда народ даже высказывал свои симпатии; быть может, оно было на почве сострадания, но, во всяком случае, это замечательно».

«На улицах жарко; японцы в одних кимоно с веерами в руках; изредка кто-нибудь проберется к русским и или угостит папироской, или скажет ласковое «конничива», а то и на ломаном русском языке: «Здравствуй, русский». Русский солдат сперва недоверчиво к ним относится, а в конце концов разговорится так мило, что любо-дорого смотреть, нет нужды, что не знает общего языка»<sup>1</sup>.

Какое тождество впечатлений! И притом очевидцев, разделенных громадой времени. И не здесь ли прощупывается национальная черта, которую должно счастье интернациональной?

В записках Василия Михайловича Головнина не раз помянуты конвойные солдаты. Солдатчина не располагает к нежностям, караульная служба — к сердобольности. А между тем пленные моряки «Дианы» пользовались благорасположением своих бдительных стражей. Никогда ни один конвойный не мешал встречным миролюбить русским. Японскому крестьянину были они теми же «несчастными», какими были нашему дере-

<sup>1</sup> Ф. П. Купчинский, В японской неволе. Спб., 1906. Автор этих очерков, человек прогрессивный и наблюдательный, не рисовал идиллический плен, открыл много мрачного и трагического. Но перо его дышит искренней признательностью при упоминании о японском народе, при оценке неутомимого милосердия японских врачей и медицинских сестер.

генскому жителю колодники Владимирки или Сибирского тракта.

Стражникам, полагаю, приказали доставить пленников так, чтоб и волос не пропал. Но навряд ли велели на каждом при-вале спрашивать, не голодны ль путники, навряд велели отгно-нить комаров да мух, обмывать вечерами натруженные ноги, как Христос обмывал Петру.

Про начальника конвоя Головнин говорит: «С нами обходился он весьма ласково». Русская тюремная мемуаристика, сдается, самая обильная в мире, но в ее многотомном собрании труд-ненько обнаружить подобную оценку этапного начальства. В лучшем случае попадалась публика равнодушная, на многое по лености и нерадению взиравшая сквозь пальцы.

Месяц минул с черного полдня на Черном острове. Добрели наши бедолаги до города Хакодате, что на юго-западе острова Хоккайдо<sup>1</sup>. В тот августовский день «образы проходящего ми-ра», чарующие японских граверов, явились пленникам мрачным обликом городского острога.

Арестованный еще не арестант. Арестантом делаешься, вы-слушав приговор. В отличие от арестанта арестованный всегда в приливах-отливах надежд и отчаяния. Головнин и его моряки не исключение. Переход с Кунашира до Хакодате был и пере-ходом от одного душевного состояния к другому, полярному: то мерешилось скорое освобождение, то мерешилось бессрочное заточение. В Хакодате надежда оставила Головнина. Сырая, уз-кая, темная клетка, какой-то звериный лаз. Узник бросается на пол.

«Долго я лежал, можно сказать, почти в беспамятстве, пока не обратил на себя моего внимания стоявший у окна человек, который делал мне знаки, чтобы я подошел к нему. Когда я исполнил его желание, он подал мне сквозь решетку два не-больших сладких пирожка и показал знаками, чтобы я съел их поскорее, объясняя, что если другие это увидят, то ему будет дурно. Мне тогда всякая пища была противна, но, чтоб не огорчить его, я с некоторым усилием проглотил пирожки. Тогда он меня оставил с веселым видом, обещая, что и впредь будет приносить. Я благодарил его, как мог, удивляясь, что че-ловек, по наружности бывший из последнего класса в общест-ве, имел столько добродушия, чтобы утешить несчастного ино-странца, подвергая себя опасности быть наказанным»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Головнин, как и многие европейские картографы, называл Хоккайдо островом Мацмай.

<sup>2</sup> Эта выказалась дворянская косточка: «добродушие» (здесь бы уместнее — благородство) как-то не вяжется с представителем «пос-следнего класса общества».

Одиночеством русских не долго мытали. Офицерам-пленным предложили выбрать соседом любого пленного матроса. И вот что примечательно: не ради самих офицеров, а ради «нижних чинов». Почему? Японцы объяснили: пусть старшие примером своим бодрят подчиненных.

В Хакодате начались допросы. Вел их чиновник, пожалованный (предположительно) Головним в градоначальники. Переводил некто по имени Вехара Кумаджеро. Допросы длились часами. Пленников мучили от бесконечных повторов, от никчесностей, на которые следовало отвечать подробно, медленно, ничего не упуская.

Между тем пустячность вопросов была кажущейся. В самой дотошности крылся двойной расчет. Выше говорилось, что японцы располагали скучными сведениями о северной державе, опасную близость которой недавно ярко и яростно демонстрировали Хвостов с Давыдовым. Голландские источники не утолили жажды знания. Библиографический словарь указывает лишь несколько голландских сочинений о России, переведенных в ту пору на японский. Сочинения были слишком поверхностными, слишком общими, а информация японцев, ненароком занесенных к русским берегам, отрывочной и субъективной<sup>1</sup>.

Как тут не «потрошить» крупную птицу — капитана российского военного корабля? И офицеры тоже добыча. Да и матросы не грудные младенцы.

Другая сторона дела была в том, что хвостово-давыдовское нападение требовало и дознания и наказания. Головнин очень скоро с ужасом убедился, что моряков «Дианы» считают прямыми сообщниками моряков «Юноны» и «Авось», а гидрографические занятия в районе Курил равняют с разведывательными, шпионскими.

<sup>1</sup> Впрочем, не всегда отрывочной. В библиотеке имени В. И. Ленина хранится объемистый — 1054 страницы — манускрипт «Канкай ибун». Это подробный рассказ японских рыбаков, проживших в России десяток лет, побывавших в Петербурге, получивших аудиенцию у Александра I и т. д. На родину их доставил И. Ф. Круzenштерн, совершивший кругосветное плавание. (Подробнее: Ю. Давыдов, Кольцо морей, или приключения четырех японцев и одной рукописи. Альманах «Мир приключений», М., 1962, кн. 7.)

Головнину в Японии показывали чертежи перехода крузенштерновой «Надежды» из Кронштадта в Нагасаки. Эти чертежи (планы) сделали японские пассажиры русского шлюпа. Василий Михайлович и удивился и восхитился. «На них, — пишет он, — были изображены Дания, Англия, Канарские острова, Бразилия, мыс Горн, Маркизские острова, Камчатка и Япония — словом, все те моря, которыми они плыли, и земли, куда приставали. Правда, что в них не было сохранено никакого размера ни в расположении, ни в положении мест, но если взять в рассуждение, что люди сии были простые матросы и делали карты на память, примечая только по солнцу, в которую сторону они плыли, то нельзя не признать в японцах редких способностей».

Следствие заранее убеждено в истинности обвинения. Суть печальная для обвиняемого: не ему должны доказать его виновность, а он должен доказывать свою невиновность. Приходится признать, что японские дознаватели располагали материалами, пожалуй, убедительными.

Головнин не только отмежевывался от Хвостова и Давыдова, но и отмежевывал лейтенантов от коронного флота, повторяя, что те состояли на частной, купеческой службе.

Однако японцы располагали бумагой, подписанной: «Российского флота лейтенант Хвостов». Документ этот командир «Юноны» выдал старшине одного сахалинского селения как свидетельство принятия под скипетр русского государя. Разве частное лицо, рассуждали японцы, дерзнуло бы на такой поступок? И разве «частное лицо», на него дерзнувшее, не носило, по свидетельству очевидцев, таких нашивок на мундире, как и капитан «Дианы»?

Головнина спросили, сколькими кораблями располагают русские в Петропавловске. Василий Михайлович почему-то бухнулся: «Семью кораблями». Ответ — «волею слепого случая» — прозвучал весьма некстати. Носился слух, что в точности семь кораблей намерены россияне послать к берегам Японии.

Камергеру Резанову совсем недавно было указано на дверь: убирайтесь, знать вас не желаем, никакой дипломатии! Ответ японского правительства не мог остаться тайной для русского правительства, даже если посол и помер на полдороге к Петербургу. Зачем же в таком случае посылали «Диану»? Ах вот оно что: шлюп покинул Кронштадт еще до того, как были получены известия от Резанова? Но ведь капитан Крузенштерн, как говорит сам господин Ховарин (так японцы произносили фамилию Василия Михайловича), успел к тому времени вернуться из кругосветного плавания... Почему «Ховарин» посетил остров Кунашир? Нуждался в провизии и топливе? Понятно. Но кто ж ему позволил действовать без разрешения? Он оставил деньги на видном месте, расплатился сполна? А по закону должно погибнуть с голоду, не смея тронуть ни одного зернышка пшена без согласия хозяина. (Выходило, в чужой монастырь со своим уставом не суйся.) «Пусть всяк теперь, — пишет Головнин, — поставит себя на нашем месте и вообразит, в каком мы долженствовали быть положении... Все убеждало японцев, что мы их обманываем».

Как водится при важных расследованиях, ведущихся в провинции, градоначальник Хакодате посыпал начальству обстоятельные донесения и дожидался указаний. Поэтому сами допросы были многочасовыми, но зато не каждый день. А про ночь

ные бдения в какой-нибудь пыточной избе и говорить нечего.

«Свободное» время у Василия Михайловича было. Один биограф серьезно утверждает, что Головнин и в тюрьме не прекращал своих «научных занятий». Как так? А вот как: «Все, что он наблюдал во время прогулок и узнавал из разговоров с охранниками, Головнин заносил в свой оригинальный «журнал» из ниток, облегчавший ему запоминание».

«Журнал» существовал. А вот «научные» занятия... Биограф наделил ими Василия Михайловича от щедрот своих. Головнин, право, не придавал «ниточному дневнику» диссертационного значения. Ученой степени он не вожделел, а просто заявлял «узелок на помять».

«...За неимением бумаги, чернил или другого, чем бы я мог записывать случившиеся с нами примечательные происшествия, вздумал я вести свой журнал узелками из ниток, для каждого дня с прибытия нашего в Хакодате завязывал я по узелку: если в какой день случилось какое-либо приятное для нас приключение, ввязывал белую нитку из манжет, для горестного же происшествия черную шелковинку из шейного платка; а если случилось что-либо достойное примечания, но такое, которое ни обрадовать, ни опечалить нас не могло, то ввязывал я зеленую шелковинку из подкладки моего мундира; таким образом, по временам перебирая узелки и приводя себе на память означенные ими происшествия, я не мог позабыть, когда что случилось с нами».

Наверное, сильно поредел шейный платок капитана «Дианы», а манжеты сохранились целехонькими. Нет, в сентябре потеряли и они две ниточки. Первую по случаю выдачи теплой одежды: шинелей, фуфаек, шапок. Вторую по еще более отрадному поводу: Дмитрий Симонов утаил складной нож. Матросским обыкновением нож был прикреплен к фуфайке длинным узеньким ремешком; бдительные караульщики недоглядели, и Головнин шепнул матросу, чтоб берег нож «как глаз».

26 сентября 1811 года пленники сложили пожитки. Русских отправляли в «губернский» город Мацмай<sup>1</sup>. Пятьдесят тюремных дней, а теперь снова в путь.

Как странник я одет, готов к пути,  
А путь в волнах безбрежных исчезает...  
Когда вернусь?

<sup>1</sup> Город Фукуяма на крайнем юго-западе острова Хоккайдо, у входа в Сунгарийский пролив со стороны Японского моря.

Не знаю ничего,  
Как белые те облака не знают... <sup>1</sup>

Возвращение, бегство, воля — мечта, мысль, общие всем пленникам. Отныне они владеют Головнином. И не только им. Но пока ни малейшей возможности ускользнуть от стражи.

Мацмай — многолюдный город, гораздо многолюднее Хакодате. Толпу удерживают протянутые веревки. Пленников ведут гуськом. День солнечный, ясный. В такие дни скрип тюремных ворот как скрип дыбы.

Пленников заперли в клетках. Маленький клочок далекого неба казался цветной бумажкой. Пахло свежим деревом, строительный мусор еще не убрали. Острог был новенький. Отсюда не выйдешь до гробовой доски.

И опять допросы, допросы, допросы. Допрашивал губернатор. Аррао Тадзимано Кано держался серьезно и просто. Он как бы мельком осведомился, где русские хотели бы обосноваться — здесь ли, в Мацмае, или в Эдо? <sup>2</sup>

«У нас только два желания, — отвечали мы, — первое состоит в том, чтобы возвратиться в свое отчество, а если это невозможно, то желаем умереть; более же мы ни о чем не хотим просить японцев».

Воцарилась тишина. Потом губернатор заговорил. Речь его была длинной. Алексей Максимович, переводчик, курилец, не умел полностью изложить сказанное. Смысл, однако, передал: японцы такие же люди, как и все другие, у японцев тоже есть сердце, они не могут допустить, чтобы пленники умерли, пленники не должны унывать, дело рассмотрят; если правда, что Хвостов действовал самолично, а не по приказу русского правительства, «капитан Ховарин» со своими людьми уедет в Россию.

Впоследствии Василий Михайлович не раз подчеркивал, что мацмайский правитель не кривил душой. Он доказывал «высшим сферам» невиновность моряков «Дианы». Но из Эдо отвечали одно: допрашивайте!

И допрашивали. Как и в Хакодате, мацмайское следствие

<sup>1</sup> Неизвестный автор. Перевод с японского А. Е. Глускиной.

<sup>2</sup> Эдо — первоначально замок, возведенный в 1590 году феодалом и полководцем Токугава Иэясу. В 1603 году Токугава провозгласил себя сегуном, правителем. Его династия господствовала около двух с половиной веков. Все это время императорский двор роскошествовал в городе Киото. Император царствовал, сегун правил. Одной из черт токугавского феодально-полицейского режима был курс на твердую и неукоснительную изоляцию страны от внешнего мира. Еще многие годы спустя после головнинского пленения сегунат в десятый, кажется, раз подтвердил неизменность избранного курса. После свержения сегуната в конце 60-х годов XIX века резиденцией императоров становится Эдо, переименованный в Токио.

отличалось неутолимой жаждой; как и в Хакодате, пленники теряли терпение от этих «опросных пунктов». Можно было лопнуть с досады, час за часом растолковывая такие, например, материи:

Какое платье носит ваш государь?

Что он носит на голове?

Каких животных, птиц и рыб едят русские?

На какой лошади государь ваш ездит верхом?

Кто с ним ездит?

Чем торгуют в Петербурге?

Сколько сажен в длину, ширину и высоту имеет государев дворец? Сколько в нем окон?

Сколько раз в день русские ходят в церковь?

Носят ли русские шелковое платье?

Каких лет женщины начинают рожать в России и в какие лета перестают?

Однако «государевы шляпы» следуют вперемежку с вопросами об устройстве казарм и расположении артиллерий, о численности войск и численности флота, о крепостях и портах, короче, этнографические интересы переплетались со стратегическими.

Говорят, говорят, говорят... Писцы изводят тушь... Недели за неделями... Ну, кажется, все выговорили? Батюшки светы: велено приступить к своеручному описанию «всего дела».

Долго перекоряясь, выторговал Василий Михайлович право писать лишь о плавании «Дианы». Трудность крылась не в изложении, а в переводе. Словарный запас Алексея Максимовича был тощим, как сам курилец; японец Кумаджеро был «от природы туп». Головнин признается: «Мы сердились и брали его, а он смеялся и извинялся тем, что он стар, а русский язык слишком мудрен». Получалось почти как у терпеливого магистра Олоферна с небезызвестным Гаргантюа: у них одна лишь латинская азбука поглотила пять лет и три месяца...

Наконец губернатор прислал молодца по имени Теске. Теске притащил ворох бумаг с русскими речениями, собранными из разных источников. Парень оказался понятливым. К тому же он искренне привязался к учителям.

Кое-как управлялись. Правда, если б удалось теперь добыть из японских архивов сей перевод, то он бы, как предвидел Головнин, «очень позабавил читателя своим слогом». Впрочем, в заточении пренебрегали стилистикой. Поскорее бы ублажить правителей Эдо!

Не тут-то было: сегун командировал к пленникам Мамия Ринзоо. Человека этого поныне в Японии чествуют. Изо всех

японских знакомцев Василия Михайловича самым колоритным и знаменитым был, конечно, Мамия Ринзоо.

Сын бондаря, почти ровесник Головнина, Ринзоо принадлежал к тем, о кем англичане говорят: «Он сделал самого себя», то есть всего достиг собственным умом и энергией. Даровитый математик и не менее деловитый лесовод, Ринзоо испытывал настоящую потребность в странствиях. Его привлекал мрак севера, он много путешествовал, за ним утвердилась репутация открывателя островного положения Сахалина.

В Мацмай прибыл Ринзоо не чай пить. Ему поручили выведать у русских уровень их географических познаний, уровень картографических и навигационных работ.

В отзыве Головнина о Мамия Ринзоо слышится ироническая нотка: Василий Михайлович приметил в нем суэтность. И еще посмеялся: дескать, считается «отличным воином», а сам при нападении Хвостова на остров Итуруп «дал тягу в горы, но, к счастью его, русская пуля попала ему в мягкое место задней части; однако ж он не упал и ушел благополучно, за что награжден чином и теперь получает пенсию».

Не знаю, не для красного ль слова «мягкое место», но обстоятельства «тяги в горы» столь туманны, что лучше уж, как говорят, не торопиться с выводами. (Да, кажется, и Василий Михайлович спохватился: в английском издании «Записок» он погасил усмешку. И до такой степени, что головинскую характеристику Ринзоо впоследствии не без удовольствия цитировал японский писатель Осада Гуутоку.)

Во второй половине своей жизни Мамия Ринзоо променял астролябию и секстант на весьма почетную во всякой полицейской державе должность «сыщика центрального правительства». Шпионские обязанности отправлял он с блеском. Кто поручится, не было ли мацмайское посещение первым опытом?

Если и было, то не очень-то успешным. Головин не стал миссионером от науки. Сидеть в тюрьме и обучать тюремщиков то языку, то навигации не имел он никакого желания. Мамия Ринзоо гневался. Характерец у него был не бархатный, но и у капитана «Ховарина» не восковой. Нашла коса на камень. И все же, как свидетельствует Василий Михайлович, «не всегда мы с ним спорили и ссорились, а иногда разговаривали дружески... Он утверждал, что японцы имеют основательную причину подозревать русских в дурных против них намерениях и что голландцы, сообщившие им о разных замыслах европейских дворов, не ошибаются».

Проницательность на сей раз изменяла Ринзоо. Русский двор, Зимний дворец тогда еще не вынашивал антияпонских

проектов. Ближе к истине оказался переводчик Теске. Этот ударял прямо по шляпке гвоздя: голландцы сознательно чернят русских вообще, «Ховарина» в частности, ибо боятся коммерческого соперничества России.

Ринзо не принимал никаких доводов желторотого юнца. Однако с отказом Головнина давать какие-либо научные консультации он вынужден был смириться. Благо выручил Мур: мичман охотно занимался с «японским землемером».

Василий Михайлович, штурман Хлебников, матросы «Дианы» все с большей тревогой приглядывались к своему соузнику. В настроении и поведении мичмана происходила странная и опасная перемена.

Федор Федорович Мур, воспитанник Морского корпуса, не дрогнув, разделил с товарищами и грозные битвы близ мыса Горн, и «задержание» на мысе Доброй Надежды, и безумный, дерзкий прыжок из-под пушек британской эскадры, и полуголодное существование в долгие дни плавания Индийским океаном. Натура у него была артистическая (мим и рисовальщик), нрав покладистый, веселый. На корабле его любили. Люблили поначалу и в японской неволе. Но вот дунули весенние ветры, из «сфер» Эдо не доносилось ни звука, и Мур заметно увял. А когда доброжелательный переводчик Теске секретно шепнул пленникам, что их вопрос «в столице идет не особенно хорошо», Федор и вовсе поник.

«Мы часто говорили между собой, — пишет Василий Михайлович, — что и писатель романов едва мог бы прибрать и соединить столько приключений, несчастных для своих лиц, сколько в самом деле над нами совершается; почему иногда шутили над Муром, который был моложе нас, а притом человек видный, статный и красивый собою, советуя ему постараться вскружить голову какой-нибудь знатной японке, чтобы посредством ее помощи уйти нам из Японии и ее склонить бежать с собою. Тогда наши приключения были бы совершенно уже романические; теперь же недостает только женских ролей».

Увы, не у знатной японки, а у самого мичмана, кажется, кружилась голова. Похоже было, что готовится другая роль в романической пьесе — роль отступника. И тут уж было не до шуточек.

Весною Василий Михайлович и его друзья твердо решились бежать. Не оставалось иной надежды получить «освобождение от японцев». Решение это, очевидно, подогревалось и вешним солнцем. Весною арестантскую душу пронизывает особенная, почти неодолимая тяга к свободе.

Стремление узников избавиться от решеток и запоров «реа-

листы»-караульщики понимают. И принимают не бесясь. Тюремные побеги при всей изобретательности беглецов однообразны. Они двух типов: вольные помогают заключенным, вольные не помогают заключенным. Понятно, второе сложнее; тут больше шансов на провал, чем на успех. У Головнина связь с «волей» не устанавливалась. Японское население сострадало «несчастным», но, конечно, не склонно было бы содействовать побегу.

Беглецы не на японцев рассчитывали, а на японские рыбачьи баркасы. Немало баркасов и шхун стояло на приколе у берега. А губернатор Мацмая простирая свое благоволение до того, что дозволил пленникам (разумеется, под стражей) дальние прогулки. Уходить днем и, как говорится, «на рывок» было бы безумием. Однако осмотреться во время прогулок можно было и нужно. Бежать следовало ночью, из тюрьмы. Захватить суденышко, выскочить в море — поминай как звали... Гибель возможна? Да, очень возможна. Но, рассуждал капитан «Дианы», «гораздо лучше погибнуть в море, на той стихии, которой мы посвятили всю жизнь свою и где ежегодно погибает множество наших собратий, нежели вечно томиться в неволе и умереть в тюрьме».

План от своих не скрывали, обсуждая подробности, частности, и матросы были ровней офицерам в этих обсуждениях. Колебались, открыться ль айну-толмачу? Наконец и Алексея Максимовича пригласили участвовать в опасном предприятии. Курилец побелел. Собравшись с духом, ответил достойно:

— Я такой же русский, как и вы. У нас один бог, один государь. Худо ли, хорошо ли, но куда вы, туда и я. В море ли утонуть или японцы убьют нас, вместе все хорошо. Спасибо, что вы меня не оставляете, а берете с собою.

Вот так сказал «дикий» островитянин. А мичман Федор Мур отпраздновал труса. Нет, он не двинется с места, пусть его не трогают, он и пальцем не шевельнет.

Отказ отказу рознь. Тяжелораненые остаются в расположении врага, не желая быть в тягость. Мур не только оставался в расположении, но и в распоряжении врага. Во всяком случае, близко к тому. Он выказывал японцам подчеркнутую почтительность, граничащую с заискиванием. Напротив, с товарищами был болезненно раздражителен, вызывающе груб.

Головнин порывался взять с мичмана рыцарскую клятву хранить молчание о замыслах соотечественников. Матросы по своей мужицкой «простоте» воспротивились: их благородие наобещает с три короба, да после, глядишь, продаст как Иуда. Никто-де легче клянущегося не оборачивается клятвопреступником. Дворянскую честь Головнина задело неверие в дворян-

скую честь Мура. Но Василий Михайлович уступил. Не на шканцах, не перед строем — не то положение: «невозможно повелевать, а должно уговаривать, соглашать и уважать мнение каждого».

Стакнулись вот на чем: таиться от Мура и внушать, что одумались, угомонились, бросили затеи. К досаде Головнина и штурмана Хлебникова, к негодованию матросов, мичман с каждым днем «прогрессировал». Он уже не только приветствовал японцев японским поклоном, но и перенял у японцев японскую подозрительность. Отступник стал соглядатаем. Правда, еще не извещал губернатора о побеге, но подбивал на донос курильца Алексея. И однажды признался ему, что намерен вступить в японскую службу переводчиком да и зажить припеваючи.

Готовить побег при «внутреннем» наблюдении все равно что готовить уху из кролика. Однако все помыслы пленников съединились на одном. В таком душевном накале перегрызешь и кандалы. А весна, нежная, акварельная весна, разгоралась, и горожане уже созерцали цветущие вишни.

Ах, вишни цвели не так, как в Гулынках! И небо голубело не так, как на Рязанщине. И мелодии речек были не те, что у Исты, заливающей правобережные луга.

О, с какой тоской  
Птица пленная следит  
Бабочек полет<sup>1</sup>.

У человека, готовящегося к побегу, и без очков четыре глаза. Зорких, настороженных, соколиных. У него сноровистые руки, руки умельца. Его одежда и его тело внезапно приспособливаются прятать почти любую ношу.

На прогулке нашли огниво. У солдат выкрали кремень. Из клочка рубахи сделали трут. Под мышками и на пояснице привязали мешочки с пшеном. В мураве тюремного двора обнаружили долото, под крыльцом — заступ. Выпросили иголки чинить исподнее, а после пожали плечами: вот незадача, потеряли. Пазы острога были обиты тонкой медью, клочок меди неприметно отодрали. Стальные иглы, медяшка да несколько листков бумаги, склеенной рисовым отваром, — и штурман Хлебников Андрей Ильич смастерили компас в бумажном футлярчике... Нечаянности выручают безумцев, парящих над здравым смыслом.

И все ж со здравым смыслом приходилось считаться. Матросы усомнились в твердости курильца. Уж больно часто Алексей шушукался с Муром! Не ровен час склонился на сторону

<sup>1</sup> И с с а. Перевод с японского В. Н. Марковой.

их благородия. Так иль не так, но уж коли гнетет сомнение... Не к теще на блины... Тут уж либо пан, либо пропал. Головнин с Хлебниковым приняли совет матросов и сказали Алексею, что отложили бегство до лета. Дурной поступок? Очень может быть.

В апреле, 23-го на какой ниточке завязал Головнин узелок? Верно, опять потревожил манжеты, дополняя «ниточный журнал». А в России-то, дома-то праздновали день великому-ченика Георгия Победоносца. И разносилось в церквях на утрене: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Помнили, нет ли, Головнин с братией про святого Егория, но уж чего-чего, а разоблачения сокровенного страсть как не хотели.

«Вечером матросы наши взяли на кухне, скрытым образом, два ножа, а за полчаса до полуночи двое из них (Симонов и Шкаев) выползли на двор и спрятались под крыльцо, и коль скоро пробила полночь и патруль обошел двор, они начали рыть прокоп под стену. Тогда и мы все (кроме Мура и Алексея) вышли один за другим и пролезли за наружную сторону. При сем случае я, упираясь в землю ногой, скользнул и ударился коленом в небольшой кол, воткнутый в самом отверстии; удар был жестокий, но в ту же минуту я перестал чувствовать боль. Мы вышли на весьма узенькую тропинку между стеной и оврагом, так что с великим трудом могли добраться по ней до дороги, потом пошли скорым шагом...»

Блаженное мгновение, ни с чем не сравнимое: вдруг не ощущаешь конвоира, его дыхания, его сопения, его воли, пусть спокойной, пусть мирной, но всегда давящей. Ты еще не спасен, вот-вот обрыв, ты весь напряжение, но кровь уж ликует.

Поначалу все союзничает с беглецом: лесная чаща и бездорожье, крутизна речных берегов, не схваченная мостами, топкие луговины, не оставляющие следов... Но постепенно одолевает усталость. И тогда проступает молчаливая враждебность природы. Лесные коряги сбивают с ног, топь охватывает щиколотки, реки, как назло, попадаются небродливые. Все чрезмерно, все чересчур — и тепло и холод.

Годы спустя Василий Михайлович начал описание побега следующим замечанием: «Надобно знать, что весь обширный остров Мацмай покрыт кряжами высочайших гор». Современный комментатор его одернул: «Головнин неверно представлял себе рельеф Мацмая (Хоккайдо). Горы Хоккайдо невысоки (высшая точка гора Асахи в центре острова, 2290 метров над уровнем моря), особенно по сравнению с хорошо известными Головнину горами Камчатки (Ключевская сопка — 4870 метров над уровнем моря)». Точность комментатора формальная, мате-

матическая. Точность Головнина психологическая. Горы камчатские озирал он по своей охоте, в горах японских за ним охотились. Кряжи Мацмая вставали страшным барьером на пути к свободе, к воле, к открытому морю. И потому это «высочайшие горы». Вот так и тайга: кому мать, а кому мачеха.

Головнин не объясняет, отчего беглецы взяли прямиком на север, через кряжи, а не бросились к ближнему берегу, к баркасам. Очевидно, этот вариант был забракован из-за осведомленности Мура. Не полагаясь на немоту мичмана, беглецы рассчитывали направить погоню по ложному курсу.

Головнинский побег, головнинский плен примечательны сплоченностью, чувством локтя, артельностью, товариществом. Головнин не фальшивит, употребляя в своих записках: «товарищ наш», «мои товарищи».

На корабле цепенила строгая иерархия, плен ровнял офицера с матросом. Больше того, давал матросу известную самостоятельность. Черт подери, можно было свести счеты! Когда тонул капитан Круз, его шмянули веслом<sup>1</sup>. Когда капитан Головнин не мог идти (мучило разбитое колено), матросы тащили капитана на себе. Он совсем выбился из сил, «именем бога» просил бросить его. «Однако ж они просьбы моей не уважили, а говорили, что пока я жив, то не оставят меня...»

Беглецы шли ночью. Днем прятались в бамбуковых зарослях, в ущельях, за валунами. И старались соснуть, обогреться, поесть. Лишь старались! Сон не в сон на снегу: в горах еще лежал снег. Как обогреться, если дым костра привлечет погоню? Подкрепишиься ли заплесневелым пшеном, черемшою, конским щавелем?

Хуже других доставалось Василию Михайловичу. Болела уже не нога — боль точила, грызла, вонзилась во все тело, во все кости. Он ковылял, ухватившись за кушак матроса. С круч спускался, как суворовский солдат в Альпах, на собственных ягодицах.

«Отчаянное наше положение заставляло нас забывать все опасности, или, лучше сказать, пренебрегать ими. Я только желал, чтоб, в случае если упаду, удар был решительный, дабы не мучиться нисколько от боли». И такой решительный, роковой удар едва-едва не сгубил Головнина. Был он не на волос от смерти, а на... руку.

«Мне уже нельзя было держаться за кушак Макарова, иначе он не мог бы с такой тяжестью взлезть на вершину, и потому я, поставив пальцы здоровой ноги на небольшой камень,

<sup>1</sup> См. стр. 25.

высунувшийся из утеса, а правую руку перекинув через моло-  
дое дерево, подле самой вершины его бывшее, которое так на-  
клонилось, что было почти в горизонтальном положении, стал  
дожидаться, пока Макаров взлезет наверх и будет в состоянии  
мне пособить подняться; но, тащив меня за собою, Макаров, хо-  
тя, впрочем, весьма сильный, так устал, что лишь поднялся  
вверх, как в ту же минуту упал и протянулся как мертвый.  
В это самое время камень, на котором я стоял, отвалился от  
утеса и полетел вниз, а я повис на одной руке, не быв в сос-  
тоянии ни на что опереться ногами, ибо в этом месте утес  
был весьма гладок. Недалеко от меня были все наши матросы,  
но от чрезмерной усталости они не могли мне подать никакой  
помощи; Макаров лежал почти без чувств, а Хлебников под-  
нимался в другом месте. Пробыв в таком мучительном положе-  
нии несколько минут, я начал чувствовать чрезмерную боль в  
руке, на которой висел, и хотел было уже опуститься в быв-  
шую подо мною пропасть в глубину сажен с лишком на сто,  
чтоб в одну секунду кончилось мое мучение, но Макаров, при-  
шед в чувство и увидев мое положение, употребил всю свою  
силу и вытащил меня наверх».

Быть может, теперь в горах на юго-западе полуострова Оси-  
ма бродит прилежный рисовальщик, шепча изречение художни-  
ка-титана Катсусика Хокусаи: «Ничто в природе не должно  
быть оставлено без внимания». Быть может, теперь, возвраща-  
ясь с тех хребтов, школьники-туристы вспоминают древнего по-  
эта, его прощание с горами: «Неужели скроетесь навеки?» Да,  
быть может. И Головину там, на вершинах, выдалась высо-  
кая минута: «Я никогда прежде не замечал, чтобы звезды так  
ярко блиствали». Но... «Но это величественное зрелище мгно-  
венно в мыслях моих исчезло. Мне представился вдруг весь  
ужас нашего состояния».

После мучительного странствия кому не отрадны запах оча-  
га, людские голоса, топот лошади, свет фонаря, лай собак?  
У беглецов к меду радости всегда примешан деготь страха.

Вот они, спускаясь с гор, видят дорогу, избитую копытами,  
придорожные поленницы, ямы с древесным углем, хижины ви-  
дят и кобылку на выгоне. Где-то перебрехиваются деревенские  
псы, такие же Шарики да Жучки, как дома.

Несколько ночей кряду тенью скользят беглецы близ моря.  
В раскатах и плеске призывный голос воли. Какая-то шхуна  
становится на якорь. А потом тишина. Удивительная тишина,  
наступающая с окончанием корабельных работ.

Несколько ночей кряду тенью, крадучись, беглецы прони-  
кают в селения. Вдруг задрожавшими руками ощупывают они

большие, тяжелые, грубые баркасы, пахнущие водорослями и добычей. Моряки знают, что суденышки японских рыбарей всегда снабжены харчами и пресной водой.

Несколько ночей кряду пытаются они завладеть баркасом. Им никто не мешает. Им мешает бессилье. Тщетно! Они не могут сдвинуть с места эти просмоленные суда. Нет сил. Нет! Море рядом. Оно плещет, зовет, оно совсем рядом. Нет сил. Все тщетно.

Как затравленные, прячась невдалеке от селений, беглецы «составляют новый план». Два десятка миль — и островок Ко-дзима. Там ни души, там бамбуковые заросли, там можно соорудить шалашик, развести костер, отдохнуть. И перебраться туда не велик труд, ибо малых шлюпок на берегу что песку морского. Да, да, да! Уйти на необитаемый островок Ко-дзима. Отдохнуть. А потом — прости, господи, прегрешения наши — отбить у того, кто зазевается, баркас, взять на плаву, как приберут... А не сподобит бог на неправедный подвиг, тогда уж, была не была, пуститься в поход хоть на малых шлюпках.

И в ту минуту, когда беглецы ободрились новым планом, в ту самую минуту штурман Хлебников заметил на холме женщину. Она подавала кому-то знаки: «Скорее! Скорее! Сюда! Сюда!»

Вот и настал черед «женской роли», которой не хватало романтической пьесе. О женщины Японии, прелестные, как Осама на цветной гравюре Утамаро, одна из вас сыграла эту роль.

Добро бы еще селян звала, так нет ведь — вороньем слетелись солдаты: ружья, сабли, стрелы. И офицер загарцевал. Четверых пленили мгновенно. (Головнин со Шкаевым шарахнулись в сторону.) Сбежались крестьяне. Кричали, будто конокрадов настигли. Головнин и Шкаев, притаив дыхание, жердины скжали: у одного с ножом, у другого с долотом.

Штурмана и матросов повели в деревню. Двух оставшихся принялись искать. Головнин поднял рогатину. Бородатый, изможденный, ждал японцев. Губы у Шкаева задрожали. Убьешь японца, шепнул он Василию Михайловичу, японец убьет наших; отдайся ты им, скажи, что убегли по твоему приказу, страшась, что за ослушание накажут в России, сделай ты милость, убьет японец наших... Никак Головнин не пояснил потом, что думал, что пережил. Да и к чему? Зачем? Когда корабль гибнет, командир последним покидает палубу. Когда экипаж судят, командир отвечает первым... Головнин бросил рогатину, вышел из кустарника.

Российская практика ловли беглецов проста и зла — изловили, пеняй, братец, на себя. Мордой, хребтом, боками при-

ми нещадные побои. Вымestят караульные и досаду за хлопоты, отплатят за гнев начальства и еще нечто вымestят, самим непонятное, как в пьяной драке.

А шестерых, пальцем не тронув, накормили<sup>1</sup>. Крестьяне, примолкнув, смотрели на них «с выражением жалости»; руки связали им «слабо», повели бережно, поддерживая, как больных. Правда, без отдыха вели, пешком, лошадей не дали. И была в этом шествии трагикомическая торжественность. Впереди огни раскладывали, солома схватывалась жарко, светло взрывая темную майскую ночь. Церемониальное шествие! Можно было подумать, усмехается Головнин, что сопровождали тело знатного усопшего.

В Мацмай вступали совсем уж парадно. Разве что без музыки. Принарядившиеся солдаты тихохонько шли, как за катафалком. Верховой офицер надел «богатое шелковое платье» и «посматривал на народ, стоявший по обеим сторонам дороги, как гордый победитель, заслуживающий неизреченную благодарность своих соотечественников».

Может, солдаты берегли пленников для «губернского» возмездия? Кто-кто, а господин губернатор должен был гневаться. Уж он ли не потакал русским, уж он ли не выгораживал русских перед вельможами Эдо! Головнин, Хлебников, матросы ожидали жестокого наказания.

И что же?

«Когда все чиновники собрались и сели по своим местам, вышел и губернатор. На лице его не было ни малейшей перемены против прежнего: он так же казался весел, как и прежде, и не показывал никакого знака негодования за наш поступок».

И тогда же в канцелярии прозвучал следующий диалог:

Головнин: «Поступку нашему один я виною. Я принудил других уйти. Приказаний моих они опасались ослушаться. Посему прошу товарищам моим не делать зла, а лишить жизни меня».

Губернатор: «Если японцам нужно будет убить капитана Ховарина, он будет убит и без его просьб. А если нет, то не будет убит, сколько б о том ни просил... Итак, зачем вы ушли?»

Головнин: «Мы не видели ни малейших признаков к на-

<sup>1</sup> Во время русско-японской войны пленный мичман Анатолий Толстопятов бежал с товарищами из заключения. Они тоже скитались в горах и тоже были пойманы. Кляня почем зря «наглых и надменных» островитян, мичман, однако, отмечает, что японцы отнеслись к беглецам очень внимательно, привели в лучшую гостиницу и велели приготовить ужин. См. А. Толстопятов, В плену у японцев. Спб., 1908.

шему освобождению. Напротив, все показывало, что японцы нас не отпустят».

Губернатор: «Я никогда не упоминал о намерении нашем держать вас здесь вечно. Кто сказал вам это?»

Головнин: «Теске».

(Ответ непростительный. Бедный переводчик Теске, капитан «Дианы» выдал тебя с головою. Как! Теске доверительно сообщил, что дела пленников худо обворачиваются в Эдо, а Василий Михайлович, не сморгнув, открыл карты. Одно ему извинение, да и то слабое: волнуясь, проговорился. День-другой спустя он и его друзья всячески обеляли Теске, а также солдат, проворонивших уход их из тюрьмы. Но сейчас имя переводчика было произнесено. Губернатор, чиновники воззрились на Теске. Тот что-то мямлил, заикаясь и бледнея. Побледнеешь! Потом начальник Мацмая опять занялся русскими.)

Губернатор: «С какой целью вы ушли?»

Головнин: «Чтобы возвратиться в отчество».

Губернатор: «Какими средствами?»

Головнин: «Завладеть лодкой».

Губернатор: «Вы не подумали, что тотчас будут высланы караулы ко всем судам?»

Головнин: «Мы догадывались об этом. Но со временем караулы могли ослабеть, мы исполнили б свое намерение там, где нас не ожидали».

Губернатор: «Вас привели в Мацмай с Кунашира, вы совершили прогулки. Следовательно, для вас не было секретом, что остров покрыт высокими горами, а в горах далеко не уйдешь. По берегам же сплошь людные селения. Поступок ваш не походит ли на безрассудство? Или на ребячество?»

Головнин: «Пусть так. Однако ж мы шли неделю, никто нас не заметил. Поступок наш был отчаянный, он может казаться ребяческим или безрассудным. Вам, японцам, может казаться. Мы так не думаем. Наше положение нас извивяло: возвратиться в Россию или умереть в лесах, в море».

Губернатор: «Но зачем жеходить сголь далеко? Вы и здесь могли лишить себя жизни».

Головнин: «Здесь была бы верная смерть да притом от собственных рук. А так мы могли бы с помощью божьей достичь отечества».

Губернатор: «Ну хорошо. В России что вы сказали бы о японцах?»

Головнин: «Все, что видели и слышали. Не прибавляя и не убавляя».

Губернатор: «А Мур? Вы вернулись бы без него. Что скажал бы ваш государь? Похвалил бы вас за то, что оставили товарища?»

Головнин: «Правда, если б Мур был болен и не мог нам сопутствовать, тогда поступок наш можно было назвать бесчеловечным. Но он добровольно пожелал остаться в Японии.»

Губернатор: «Знали ли вы, что если б вам удалось уйти, я и многие другие чиновники лишились бы жизни?»

Головнин: «Караульные, как в Европе, должны были б пострадать. Но мы не думали, что ваши законы столь жестоки.»

Губернатор: «Есть ли в Европе закон, разрешающий бегство?»

Головнин: «Писаного закона нет, но, не дав честного слова, уходить позволительно.»

Губернатор: «Если бы вы были японцами и ушли из-под караула, последствия для вас были б дурные. Но вы иностранцы, не знаете наших законов. И ушли вы без намерения сделать вред японцам. Цель ваша была единственно достигнуть своего отечества. Отчество всякий человек должен любить более всего на свете. И потому я доброго мнения о вас не переменил. Впрочем, не знаю, как поступок ваш расценит правительство. Но обещаю стараться в вашу пользу. Так точно, как и прежде.»

Старался ли Аппао Тадзимано Ками? Это доподлинно ведомо японским архивистам. Все же можно предположить, что он не лгал. Головнин (со слов Теске) отмечает: Аппао Тадзимано Ками, «известный по своему редкому уму», «не боялся говорить правду» высшему правительству. Небоязнь если и не рождалась, то подкреплялась родственными связями: генерал-губернатор столицы приходился Аппао тестем, одна из наложниц императора — сестрой. К тому же мацмайский правитель не принадлежал к поборникам «политики закрытых дверей». Освещенная традицией, она вызывала у него саркастическую улыбку: «Солнце, луна и звезды, творение рук божьих, в течение своем непостоянны и подвержены переменам, а японцы хотят, чтобы их законы, составленные слабыми смертными, были вечны и непременны; такое желание есть желание смешное, безрассудное».

Губернатор радел русским пленникам, но один из них радел японцам. Мур ходил гоголем: он-де упреждал, что ничего путного не выйдет. Мичман, однако, не довольствовался злой радостью. Он шел кривой дорожкой. Позор свой Мур сознавал.

Сознавая, испытывал тот надрыв, который поэт определил точно: «Есть упоение в позоре». На допросах он постоянно сбивал, путал Головнина, всячески ластился к японцам. Больше того: нанес пленным чувствительный удар.

У Головнина еще на Кунашире отобрали карманную записную книжку. Записные книжки всегда вызывают повышенный интерес следствия. А в этой, головнинской, по какому-то пустячному поводу значились Хвостов и Давыдов. И Мур ткнул следователей в ненавистные имена: «Видите, лейтенанты приятели нашего капитана».

Как всякому изменнику, Муру не терпелось официально зачислиться на службу к новым хозяевам. Новые хозяева не торопились, ибо предавший раз, предаст не однажды. Преволочки бесили Мура. Он изыскивал доказательства своей верности японцам. Сказавший «аз» говорит «буки», сказавший «буки» говорит «веди»...

Василий Михайлович и бровью бы не шевельнул, достигни Мур положения «первого вельможи Японии». Другое страшило капитана «Дианы»: а ну-ка переметчик, стоя на задних лапках, выклянчит разрешение воротиться в Европу? Мур, размышлял Головнин, «очернит и предаст вечному бесславию имена наши, когда никто и ни в какое время не найдется для опровержения его. Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяния».

В конце июня 1812 года губернатор Мацмая получил повышение. Явился преемник. Сановники занялись административными делами. Один сдавал, другой принимал. Принял и пленников. Не будучи угрюм-бурчеевым, удостоверил: поскольку русские бежали ради возвращения на родину, не имея намерения вредить японцам, то он, не чиня им наказания, постараётся, как и его предшественник, хлопотать о законном освобождении, а пока просит набраться терпения.

С пленников сняли веревки. Этим не ограничились. «Пишу нам стали давать гораздо лучше, нежели какую мы получали... Каждый день велено было давать нам по чайной чашке саке... Дали трубки, табачные кошельки и весьма хороший табак. Чай у нас был беспрестанно на очаге; сверх того дали нам гребенки, полотенцы и даже пологи от комаров, которых здесь было несметное множество... Дали чернильницу и бумаги. Пользуясь этим, вздумали мы сбирать японские слова, записывая их русскими буквами<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Этот «лексикон» сохранился среди бумаг В. М. Головнина, находящихся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота (Ленинград).

Сверх того вздумал я записать на лоскутках бумаги все случившиеся с нами происшествия. Писал я полусловами и знаками, мешая русские, английские и французские слова, так чтобы, кроме меня, никто не мог бы прочитать моих записок».

Сносное положение, ие так ли? Но тюрьма остается тюрьмой, даже если стены бархатные, а замки золотые. Не жили пленники — изживали день за днем, неделю за неделей<sup>1</sup>. И не проникали к ним вести с Земли. Они не знали ни о Наполеоновом нашествии, ни об отступлении русской армии, ни о том, что 6 сентября 1812 года, когда их вызвали в губернаторский замок, был канун Бородинской битвы.

Не гул полков, занимавших места согласно диспозиции, дошелся к ним в резиденцию губернатора, а словно бы веселый раскат весеннего грома: письма Рикорда!

Первое письмо Петр Иванович адресовал кунаширскому начальнику, второе — Головнину. В первом Рикорд уведомлял, что привез семерых японцев, потерпевших крушение близ Камчатки, что русский император души не чает в императоре японском, что ему, Рикорду, хотелось бы либо забрать своих сослуживцев, либо по крайности узнать, где они и как они.

Второе письмо извещало Василия Михайловича, что старый однокашник, принявший командование «Дианой», со страхом и надеждой ждет сообщения об участии пленных, что, если японцы не позволят отвечать, пусть Василий Михайлович добьется, чтобы это письмо вернули ему, Рикорду, а он, Головнин, надорвет бумагу на слове «жив».

Головнин схватился за перо. Губернатор его остановил: без распоряжения из столицы нельзя. А гонцы гнали в Эдо чуть не месяц.

В тот же день, 6 сентября 1812 года, Петр Иванович Рикорд занес в дневник:

«Увидев в море, против залива, милях в шести, штилюющее японское судно и со вчерашнего числа решившись неприятельски действовать против японцев, я послал лейтенанта

<sup>1</sup> Почти век спустя, во время русско-японской войны, царских офицеров содержали в плена еще вольготнее. В уже цитированной книжке А. Толстопятова сказано: «Пленные офицеры имели каждый отдельную комнату, пользовались садом, в их распоряжении был биллиард и теннис, наконец, они получали жалование от русского правительства по 50 р. в месяц, и казалось, ни в чем не нуждались. Но, боже мой, какое то было тяжелое, беспроблемное существование!»



## ТАКАТАЙ-КАХИ.

Въ каждой землѣ есть свои обыкновенія, но прѣкѣлъ добрыхъ земельъ въ томъ таковъшаго иѣзды.

Сибирь. Нижнекамскаго Губернатора  
... Земельнаго Канцелярии Губернатора  
... № 42. № 195.

Титульный лист рукописи  
В. М. Головнина.  
Центральный государственный архив Военно-Морского Флота.

Записки  
Флота-Капитана Галеонина

о приложении его

об этом

у Японцев

в 1811, 1812 и 1813 годах,

и

приложении его заимствий о Японской Государстве и народе

Прил. Имена заимствованные красными строчками *здесь* в  
т.к. которых Человек не пропустил

и

ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ИСКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ,  
ВСЕПРЕСВЯТАЙЩАГО, ДЕРЖАВИЩАТОГО, ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ  
АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО,  
ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКАГО

и проч. и проч. и проч.

Санкт-Петербургская Академия Наук, наименуемая въ дальнѣй, опредѣленіемъ приложеннія  
къ себѣ по указаню генерала, начальника отряда, съ флагомъ Капитана и Капитана  
Михаила Михаиловича Головнина, за то имѣющее въ штабѣ гардемариніе, въ а-  
ссоциаціонномъ иконо-адаманіонномъ образѣ приложеній его членъ съ склономъ  
Кордесионіономъ, совершенно будто узаконѣніе, что съ въ флагомъ Капитана  
Головнина, на съ санкціи отъ представителя узаконѣнія Санкт-Петербургской Академіи  
о всемъ, что въ приложении Наукъ способствуетъ жаждѣ. Дело въ Санкт-  
Петербургѣ за подписаніемъ Государя Президента Академіи и съ приложениемъ  
и погашеніемъ. Май 17 для 1812 года.

С. Головнин

С. Головнин

Рудакова и штурмана Среднего на вооруженных баркасах и катере овладеть без пролития крови японским судном».

Что за притча?

Мы оставили Рикорда с двумя кораблями — шлюпом «Дианой» и бригом «Зотик» — у берегов острова Кунашир, в заливе Измены. Японец Леонзаймо, привезенный вместе с шестью рыбаками, был послан на сушу с теми самыми письмами, которые неделю спустя прочел в Мацмае Василий Михайлович. Но Рикорд ответа не удостоился. Он повторил запрос о судьбе товарищей и получил записку, где значилось: «Капитан Головнин с прочими убиты».

Зачем же кунаширский начальник сокрушил Рикорда за ведомой ложью? Оказывается (и это японское свидетельство), то была провокация. Кунаширский начальник ждал нападения русских, дабы отплатить землякам Хвостова и Давыдова, а своим землякам показать, что японцы могут встречать неприятеля как патриоты и воины. Островной гарнизон разделял мнение островного вождя. Все поклялись умереть, но не дрогнуть, как дрогнули несколько лет назад японцы под стремительными натисками «Юноны» и «Авось».

Известие об убийстве друга и его товарищей воспламенило Рикорда. Петр Иванович разъярился. Да так бурно, как могут гневаться лишь очень добрые и терпеливые люди.

Все же ярость не ослепила теперешнего капитана «Дианы», и японцы, доставленные из Охотска, не украсили реи трехмачтового шлюпа. Они, пишет Рикорд, «пришли ко мне в каюту и на коленях изъявляли свою признательность за то, что мы, невзирая на злодейское умерщвление наших соотечественников в Японии, отпускаем их на свободу и даем снабжение провизией». И далее: «Оказавовое благодеяние невинным японцам, стали готовиться с великим жаром поражать врагов-японцев, которые пролили невинную кровь наших пленных. Люди, знающие плотничью работу, оканчивали лафеты; другие, в устроенной для сего кузнице, сварили железо и оковывали им лафеты. Прочие шили картузы, исправляли свои орудия, точили тесаки — словом, никто не был празден, всякий готовился по действительным своим чувствам мстить злодеям».

В шестой день сентября Рикорд заметил «шилиющее японское судно». Увидел, атаковал, захватил. Японцы-матросы сиганули за борт. Трофей был копеечный. Да ведь лиха беда начало. Рикорд не остыл. Он намеревался обрушить на кунаширскую крепость каленые ядра, потом высадить десант. В сущности, он уподобился Хвостову с Давыдовым. Видно,

полетел как с обрыва. По слову моряков: кливер поставлен — за все уплачено! Он опросил поименно: желаешь ли быть в десанте? Услышал: желаю, желаю, желаю...

Еще несколько часов, и кровь бы пролилась. Но тут в заливе Измены показалось японское торговое судно. Оно было захвачено. Призвал штурман «Дианы», полный тезка Головнина, Василий Михайлович Средний. О, это уж был не дашний копеечный трофей! Небо ниспослало Такатай-Кахи! Само провидение!

Происшествия тех месяцев изложены Рикордом в книге и в интимном дневнике. Книгу напечатали «по высочайшему повелению», посвящена она «всепресветлейшему, державнейшему, великому» императору Александру Первому.

Цензор ли, статский советник и кавалер Яценко «засушил» книгу, сам ли автор — не столь уж и важно. Дневник Петра Ивановича куда живее, непосредственнее, красочнее. Весело цитировать дневник, а не тиснение петербургской морской типографии.

Итак, японский «торгаш» был схвачен. Судовладелец и судоводитель Такатай-Кахи переступил комингс каюты, где жил некогда капитан Головнин, а теперь встречал пленника капитан Рикорд.

«Я взял его за руку, посадил подле себя на стул и сделал несколько приуготовительных вопросов по-японски. Он отвечал тихо, поясняя слова жестами. Я выразумел, что он из Нипонского города Осаки, для торгу ходит на судах, как штурман, в Итуруп и разные гавани в Матсмае, что когда наши люди, озлившиеся как звери, с диким криком сделали из ружей выстрел, матросы его, испугавшись, предались отчаянию и начали бросаться за борт, и шестеро потонули. Потом, продолжал он, матросы ваши, войдя на мое судно, всех начали вязать, не исключая и меня; но когда я объявил о себе, что я начальник судна, они меня оставили на воле. Я старался ему объяснить, для чего мы пришли в Кунашир. Японец вдруг сказал: «Капитан Муро в городе Матсмае», — и потом пальцами показал, что всех русских там находится шесть человек... Какой быстрый был переход из отчаянного в радостное положение! Провидение, послав нам японское судно, уничтожило отчаянное, безрассудное мое предприятие (нападение на Кунашир. — Ю. Д.), но душевые мои мучения не уменьшились; новая борьба взволновала мои чувства: я был виновником смерти шестерых бедных японцев! Не имея способу свободно объяснить почтенному японскому начальнику судна о причинах,

принудивших меня вооруженною рукой вступать на его судно, я опасался самых бедственных последствий для наших воскресших друзей».

«Желая привести к какому-либо концу запутанные наши дела, я решился завтра же оставить Кунашир и взять с собою Такатая. В тот же вечер я объявил ему об этом. Он с удивительным спокойствием сказал: «хорошо» и только просил меня, чтоб я с ним никогда не разлучался и позволил ему жить вместе со мною. Я отвечал ему согласием на это... Видя я людей с большим духом, при неожиданных превратностях фортуны не изменявших своему веселому нраву, но подобного сему почтенному японцу, кажется, трудно представить пример. Он казался расположенным по собственным своим чувствам быть в России, чтоб уверить наше правительство в существовании наших друзей и в хорошем их содержании».

«...Он ни слова не упомянул о Василье Михайловиче, а только твердил: «Капитан Мур». К тому же люди наши, озлобленные первою вестью о смерти своего начальника и товарищей, никак не хотели верить, что они живы. Некоторые из них, бывшие с Муром на Итурупе, где мы имели прошлого года первое с японцами свидание, формально объявили вахтенному офицеру, что они признают этого японца за того толмача, который переводил с курильского языка японскому чиновнику, а как всем известно, что тогда же японский чиновник записал имя Мура, то и не удивительно, что японец его знает... В таком сомнительном положении я решился взять с японского судна еще 4-х человек, дабы возможно было от каждого порознь отобрать сведения об участии наших друзей».

«После обеда Такатай-Кахи просил у меня позволения матросам его приехать к нам на шлюп, и они приехали. Я приказал им показать весь шлюп и потом позвал к себе в каюту, где им поднесено было в серебряной чарке русское саке и по маленькому кусочку пряника. Многих русский спирт окуражил; одни разошлись по шлюпу толковать с нашими матросами; другие отважно поползли на марс и на салинг; пленившись светлыми пуговицами, суконным одеянием и цветными шейными платками, которые от наших людей выменивали на свои безделицы. Приятно было видеть людей, за час казавшихся

нашими врагами, в таком с нами дружестве... Такатай-Кахи, усмотрев на шканцах пустые анкерки, предложил налить их водою с его судна. Я охотно принял его вежливую услугливость и приказал порожние анкерки класть на японскую байдару; тогда японцы вырвали их из рук наших людей и сами спускали в байдару — столь велико было их усердие. Живо японцы отправились на свое судно и возвратились, наполнив анкерки хорошею водою... Когда же японцы собрались на байдару, Такатай со шкафута говорил им увещательную речь и часто повторял с гневом: «Русское саке!», обращаясь поименно к тем, которых от нашей водки сильно разобralо.

К вечеру задул ветерок, и я сделал «Зотику» сигнал: «Сняться с якоря»; мы так же пошли на большую глубину, где на ночь стали на якорь. С батарей Кунашира, коль скоро приметили нас под парусами, открылась пальба, чemu, как мы, так и сам Кахи, много смеялись».

Рикорд торопился на зимовку в Петропавловск. Он и Кахи жили в одной каюте, столовались за одним столом. Рикорд выведывал у Кахи об участии Головнина. Кахи грустно отвечал: «Я не знаю». Петр Иванович смекнул, что дело, должно быть, в произношении, и «старался разными способами фамилию Головнина изворачивать». Сквозь эти «извороты» вдруг и прорвалось как солнечный луч из обложных туч, «Ховарин». Кахи всплеснул руками: «Ховарин! Да, да, Ховарин! Я слышал, он тоже в Мацмае. Он серъезен, а Мур весел. Он не любит курить табак, а Мур любит курить трубку. Он очень высокий!»<sup>1</sup>

Сомнений больше не было: Василий Михайлович жив-здоров. «Мы, — заключает Рикорд, — благодарили провидение, пославшее нам в японце сем толь радостного вестника».

Как ни поспешал Рикорд под камчатские кровли, он не упустил случая уточнить карты Курильских островов, продолжая тем самым исследования своего друга. Осмотрел и пролив между островами Райкоке и Матуа. «Не находя его названия ни на каких морских картах, мы наименовали его проливом Головнина, в честь несчастного нашего капитана».

В начале октября 1812 года корабль отдал якорь в Петропавловской гавани. На сопках уже лежал снег. Поход закон-

<sup>1</sup> Головнин причислял себя к людям среднего роста, но в Японии он казался «великаном». «Матросы же наши, — замечает Василий Михайлович, — и в гвардии его императорского величества были бы из первых. Итак, какими исполинами они должны были казаться японцам!»

чился благодарственным молебном царю небесному, зимнее береговое житье началось «молебном» Бахусу.

Рикорда заботило здоровье южанина. Он оберегал Кахи от простуды, от печного угара, чуть не от сглазу. Вечерние беседы «распространяли в японском языке» Петра Ивановича.

Такатай-Кахи был, говоря нынешним языком, решительным сторонником мирного сосуществования. Он полагал, что торговля и мореплавание — занятия более достойные, нежели пальба из пушек и бряцание саблями. Словом, купец-мореход высказывал те простые и здравые мысли, которые трудно осуществить именно потому, что они просты и здравы.

Наступило рождество. Рикорд писал просторечный рапорт морскому министру. Изложив ход минувшей экспедиции в Японию, Петр Иванович воздал должное своему благородному и почтенному пленнику. Рикорд заверял министра, что Такатай-Кахи послужит к прекращению распри. Он, Кахи, пользуется уважением в Эдо. Ему поверят, что «произведивший в японских заселениях разные грабительства лейт. Хвостов был не что иное, как флибустьер».

Все это Рикорд старательно разобъяснял маркизу де Траверсе с единственной целью — исходатайствовать «высочайшее» разрешение на повторную экспедицию в японские воды. Такое плавание, твердил Рикорд, необходимо не только ради Головнина, но и для оправдания русского флага, обесславленного в глазах японцев поступками Хвостова и Давыдова.

В заключение Рикорд покорнейше просил его высокопрепроводительство удовлетворить давний рапорт Василия Михайловича Головнина о награждении «нижних чинов» шлюпа за мужество и неутомимость.

Между тем Петербург уготовил Рикорду новую должность, по прежним штатам генеральскую, — моряка назначили сухопутным начальником, начальником Камчатской области. Его честолюбие, очевидно, было польщено. Но его кодекс чести оказался под угрозой: освобождение Головнина почитал он святой обязанностью, как друг и помощник.

Петр Иванович, должно быть, успел связаться если и не со столицей, то с Иркутском, ему позволили «доверить временное управление Камчаткой» офицеру «Дианы» Рудакову. Таким образом, лейтенант временно занял генеральское кресло, а Петр Иванович, тоже временно, капитанскую каюту.

23 мая 1813 года он вышел в путь.

18 июня 1813 года он появился в заливе Измены.

Теперь Рикорду предстояло либо убедиться в «японской искренности», либо получить зубодробительное доказательство

«японского вероломства». Выхода не было: должно было отправить Кахи на кунаширский берег. Почти год они прожили душа в душу. Теперь все зависело от Такатая-Кахи.

Он не обманул. В официальном, печатном отчете Рикорд иначе его не величает, как «нашим почтенным японцем», «нашим добрым Такатаем-Кахи», «нашим усердным другом», «нашим малорослым великим другом».

Кахи курсировал между шлюпом и крепостью с регулярностью почтового судна. «Каждый его приезд, — говорит Петр Иванович, — почитаем был нами днем праздника». Самый большой праздник выдался 20 июля, когда торжествующий Кахи появился с листком бумаги и кто-то из моряков, заглянув через плечо японца, радостно закричал: «Рука Василия Михайловича!»

Не письмо — краткая записочка:

«Мы все, как офицеры, так матросы и  
курилец Алексей, живы и находимся  
в Матсмае. Мая 10 дня 1813 года.

Василий Головнин»<sup>1</sup>.

Записку, полученную от пленников, громко прочитали всей команде. И прочитали там, где объявлялись официальные, правительственные распоряжения или приказы капитана — на шканцах. Потом драгоценный клочок бумаги переходил от одного к другому. Матросы, признав почерк Головнина, благодарили Такатая-Кахи. «Почтенный японец» сиял. Для полного ликования не хватало чарки. Рикорд сделал знак, понятный всякому. И каждый, пишет он, «осушил по целой чарке водки за здоровье тех друзей, которых в прошлом лете мы почитали убитыми и все готовы были на тех берегах окончить и свою жизнь».

Конечно, предложение отправить письмечко обрадовало Василия Михайловича. Однако пребывание в мацмайской тюрьме не осветилось заревым светом. Хлебников долго и опасно хворал. Еще хуже обстояло дело с Муром.

Признак освобождения был мичману призраком возмездия. Он видел себя в кандалах, каторжником. Японцы по-прежнему не принимали его домогательств о зачислении «в службу». Наконец сказали, что не могут доверять иностранцу.

Мур был сражен. Казалось, ум его помрачился. Он заговаривался, бредил, не принимал пищи, покушался на самоубийство, сутками молчал и сутками не умолкал. Было ли то

<sup>1</sup> Обращает на себя внимание дата. Судя по ней, Головнину предложили известить русских еще в те дни, когда матросы «Дианы», готовясь к плаванию, прорубали коридор во льдах Петропавловской гавани. Японцы, стало быть, ожидали шлюп.

сумасшествие или то была хитрость? Решать не берусь. Что до Головнина, то сомневался Василий Михайлович в мичманском намерении наложить на себя руки.

Сообщение о «Диане» прилетело к губернатору Мацмая с быстротой почти телеграфной. Рикорд говорил: почта Кунашир — Мацмай требовала трех недель. Головнин говорил: о «Диане» узнали на Мацмае два дня спустя по приходу шлюпа в залив Измены. Ошибка памяти? Но зачем же оба автора, публикуя рукописи, не сверили даты? Впрочем, суть не в подобных разнотечениях.

О записке Головнина к Рикорду «усердный Кахи» не хлопотал: его еще не было на родине. Но вот следующее предложение сделали Головнину, очевидно, не без настояний «почтеннего японца»: Василию Михайловичу позволили выбрать любого матроса для свидания с соотечественниками. Японцы осторожничали — именно матроса, а не офицера, считавшегося более ценной добычей. Да и то сказать, кому из офицеров было ехать? Хлебников хворал. Предателя Мура не выбрал бы Василий Михайлович, опасаясь подвохов. Его же самого не пустили бы ни при какой погоде.

На какого ни укажи — другие обидятся. Ведь вот же, господи, фарт выдался: своих увидеть! И Головнин велел бросить жребий. Счастливый фант достался Дмитрию Симонову.

Предотъездное время использовал Головнин, мягко выражаясь, не особенно благовидно по отношению к японцам. Он питал к своим тюремщикам глубокое, устойчивое недоверие. «...При всяком случае я твердил, что он (Симонов. — Ю. Д.) должен говорить на «Диане» касательно укреплений, силы и военного искусства японцев; как и в каком месте, если обстоятельства заставят, выгоднее на них напасть и пр.».

О предстоящем свидании с одним из пленников на «Диане» узнали от Кахи. Тот предварил Рикорда «партикулярным», частным порядком. Кахи прибавил, что матрос следует на судне важного чиновника, правой руки губернатора Мацмая.

И точно, корабль японского императорского флота показался в заливе Измены: красные борта, красный шар на парусе, три кормовых флага, рядом с ними четыре пики с черными вымпелами. Последнее, как объяснил Кахи, позволяло определить ранг начальника, следующего на судне.

Императорский корабль пришел в сумерках. Посланца Головнина надо было ждать утром. Наверное, та ночь была самой длинной в жизни Петра Ивановича.

Едва рассвело, экипаж «Дианы» глядел неотрывно на скалистый берег Черного острова. Потом Рикорд отправил баркас

к речке. Ходить по воду японцы, как и в прошлые годы, не мешали. Речка служила как бы демаркационной линией.

Наконец появился Такатай-Кахи. Он размахивал белым платком, привязанным к сабле. Рядом шагал рослый человек.

«Здесь я, — говорит Рикорд, — не могу не описать трогательной сцены, которая происходила при встрече наших матросов с появившимся между ими из японского плена товарищем. В это время часть нашей команды у речки наливалась бочки водою. Наш пленный матрос все шел вместе с Такатаем-Кахи, но когда он стал сближаться с усмившимися его на другой стороне речки русскими, между коими, вероятно, начал распознавать своих прежних товарищей, он сделал к самой речке три больших шага, как надобно воображать, давлением сердечной пружины... Тогда все наши матросы, на противной стороне речки стоявшие, в изумлении нарушили черту нейтралитета и бросились через речку вброд обнимать своего товарища по-христиански. Бывший при работе на берегу офицер меня уведомил, что долго не могли узнать нашего пленного матроса: так много он в своем здоровье переменился! Подле самой уже речки все воскликнули: «Симонов!» (так его звали), он, скинув шляпу, кланялся, оставаясь безмолвным, и приветствовал своих товарищей крупными слезами, катившимися из больших его глаз.

Сия трогательная сцена была возобновлена, когда он приехал на шлюп. Я, первый с ним поздоровавшись, спросил только о здоровье всех оставшихся наших пленных в Матсмае. Он отвечал: «Слава богу, живут, хотя не так здоровы, особенно штурман опасно болен». Долее удовлетворять любопытству расспрашиванием о моем друге Василии Михайловиче Головине я не смел, видя, с каким нетерпением команда желала принять его в свои дружеские объятия».

Рикорд и Кахи затворились в каюте. Кахи показал Петру Ивановичу «особые пункты», условия, клонящиеся к освобождению пленных: во-первых, засвидетельствовать, что Хвостов «производил законопротивные поступки» без ведома правительства; во-вторых, возвратить хвостовские военные трофеи, а буде их уже не существует (или не сыскать), то и это подтвердить.

Рикорд улыбался: «особые пункты» не содержали ничего особенного. Оставалось лишь досадовать, что нужные бумаги не привезены теперь же. Хотя как было сообразить, что именно потребуют японцы?

Кахи откланялся. К Рикорду позвали Симонова. Матрос осмотрелся, нет ли посторонних. Потом скинул куртку, распорол воротник, извлек тонкий лист бумаги, свернутый жгутом.

— Вот вам письмо от Василия Михайловича. Мне удалось скрыть его от хитрых японцев. Тут про наши страдания и советы, как вам поступать.

Рикорд несколько раз прочитал все подряд, от волнения ничего не понял. «Немного успокоившись, я все прочитал и обрадовался, усмотрев, что несчастные пытаются некоторою надеждою о возвращении в свое отчество».

«Про страдания», как сказал матрос Симонов, Василий Михайлович вовсе не упоминал. А советовал следующее: быть крайне бдительными при переговорах с японцами (съезжаться на шлюпках, да так, чтобы с берега ядрами не достали); не сетовать на медлительность японцев (у них и свои мелкие дела волочатся месяцами); соблюдать учтивость и твердость (от благородства зависит не только свобода пленников, но и благо России); обо всем важном расспросить посланного матроса.

Заканчивал Головнин так:

«Обстоятельства не позволили посланного обременить бумагами, и потому мне самому писать на имя министра нельзя; но знайте, где честь государя и польза отечества требуют, там я жизнь свою в копейку не ставлю, а потому и вы в таком случае меня не должны щадить: умереть все равно, теперь или лет через 10 или 20 после... Прошу тебя, любезный друг, написать за меня к моим братьям и друзьям; может быть, мне еще определила судьба с ними видеться, а может быть, нет; скажи им, чтобы в сем последнем случае они не печалились и не жалели обо мне и что я им желаю здоровья и счастья... Товарищам нашим, гг. офицерам мое усерднейшее почтение, а команде — поклон; я очень много чувствую и благодарю всех вас за великие труды, которые вы принимаете для нашего освобождения. Прощай, любезный друг Петр Иванович, и вы все, любезные друзья; может быть, это последнее мое к вам письмо, будьте здоровы, покойны и счастливы, преданный вам Василий Головнин»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Это послание Рикорд поместил в своей книге без каких-либо сопроводительных восклицаний, полагая, что оно говорит само за себя. Иначе поступил Булгарин. Много лет спустя ему попались подлинники японских писем Головнина на рисовой бумаге. Публикуя автографы в цитируемых выше «Воспоминаниях», Булгарин предварил их панегириком. «Письма сии вполне характеризуют геройский дух русского моряка. Если б подобное событие случилось в древнем Риме, то Головнин был бы прославлен, как Регул!» Преламбулой Булгарин не удовольствовался, он снабдил письма сносками: «Есть ли что выше в летописях древней Греции и древнего Рима!», «Вот истинное самоотвержение, т. е. геройство!», «Истинное величие!».

Не мне оспаривать сущность этих похвал, разбирать историческую достоверность мученичества консула Регула в плену у карфагенян. Но вот что, по-моему, примечательно. Автор «Воспомина-

Приняв писаные наставления, Рикорд приступил к расспросам о неписаных. Тут стало ясно, как жеребьевка подвела Головнина: Симонов был добрым малым, но ума-то недальнего. Бедняга позабыл все «разведданные». Как ни бился Петр Иванович, матрос талдыкал свое: в письме, мол, «пролисано». И вдруг залился слезами.

— В тюрьме шестеро наших. Если не скоро вернусь, как бы японцы не причинили им еще горшой беды.

В тот же вечер Симонов оставил корабль и товарищей. Он возвращался в застенок. А «Диана» возвращалась в Россию, в Охотск, за бумагами, которые требовало японское правительство.

Такатай-Кахи сказал Рикорду:

— До счастливого нашего свидания в Хакодате!

## 6

Простак Симонов не умел удовлетворить и любопытства Головнина. А любопытство его было особенного свойства.

Ни один парламентарий, ни один дипломат так не алчет политических новостей, как заключенный «непростого звания». И никто так не увязывает свою судьбу с течением политических дел, как опять-таки «непростой» заключенный.

Симонова встретил Головнин будто «выходца из царства живых». (Читателю не трудно услышать здесь интонацию человека из «мертвого дома».) Василий Михайлович голодал не только из-за отсутствия частных, прямо до него относящихся известий, но и общих — о России. Ведь связь с внешним миром пресеклась не в годы затишья, не в историческом захолустье, а в годы катаклизмов. К тому же со слов голландских корабельщиков японцы передавали, что Москва взята французами и сожжена москвичами.

«Мы, — признается Головнин, — смеялись над таким известием и уверяли японцев, что этого быть не может. Нас не честолюбие заставляло так говорить, а действительно от чистого сердца мы полагали, что такое событие невозможно».

---

ний», будучи некогда русским офицером, дезертировал и сражался в 1812 году под знаменами Наполеона. В 1820 году вынырнул в Петербурге и занялся литературой. «Литераторствовал» Булгарин и для Третьего отделения, пользуясь «презрительным покровительством» тайной политической полиции. И вот, уже старцем, выжигая слезы умиления над письмами Головнина. Подлецы иной раз чувствительны к чужому благородству; нравственным уродам случается восхищаться нравственной красотой.

«Смеялись»... «Невозможно»... Но, смеясь и не веря, со-  
зывали, что дом в огне, что дома происходит нечто необычай-  
ное. И вот является «из царства живых» вестник. Вообразите,  
как его ждут и чего от него ждут!

Уж много позже, при мирных свечах, за бюро сидя, Голов-  
нин незлобиво усмехнется: «Симонов был один из тех людей,  
которых политические и военные происшествия во всю их  
жизнь не дерзали беспокоить». А тогда, в тюрьме? Ох-хо-хо,  
досталось, верно, Симонову попреков! (Да ведь он на шлюпке,  
как заметил Рикорд, до того растрогался, что казался полуум-  
ным.)

Какой бы восторг сотряс Головнина, если бы он услышал  
в своей мацмайской темнице, что Россия воюет уже далеко  
от России, что она в союзе с Пруссией, Австрией, Англией, что  
близка грандиозная «битва народов» при Лейпциге, что злая  
звезда Наполеона неудержимо меркнет. (Впрочем, будь Симо-  
нов и семи пядей во лбу, он бы не поведал о событиях лета и  
осени 1813 года: и на шлюпке, прибывшем из Петропавловска,  
ничего про них не ведали.)

А если кого и порадовал взаправду Симонов, так это сво-  
их же братцев матросов Михаилу Шкаева, Спиридона Макаро-  
ва, Григория Васильева: пересказал он им все подробности  
своего отпуска на родном корабле, чем и «доставил великое  
удовольствие».

Второе пришествие Рикорда, усилия Такатая-Кахи, офи-  
циальные заверения в дружбе, некоторые, хоть и смутные,  
слухи о победах русского оружия — все это решительно ото-  
звалось на положении семерых арестантов. «Кажется, — пи-  
шет Головнин, — японцы перестали нас считать пленниками, а  
принимали за гостей».

Они зажили в светлых, чистых покоях, едали на «прекрас-  
ной лакированной посуде», им прислуживали «с великим по-  
чтением». Губернатор объявил, что уполномочен отпустить  
русских, если «Диана» привезет в Хакодате удовлетворитель-  
ные ответы на «особые пункты».

Утром 30 августа 1813 года шестеро русских и айн Алексе-  
й Максимович «церемониально, при стечении множества  
народа» покинули город Мацмай. 2 сентября 1813 года ше-  
стлеро русских и айн Алексей Максимович вошли «при великом  
стечении жителей» в город Хакодате.

«Здесь стали содержать нас, — повествует Головнин, —  
так же хорошо; кроме обыкновенного кушанья, давали нам и  
десерт, состоявший из яблок, груш или конфет, не после стола,  
а за час до обеда, ибо таково обыкновение японцев».

Итак, вроде бы амнистировали. И они испытывали то переменчивое, нервическое, нетерпеливое состояние, какое испытывают амнистированные после указа об амнистии и до выхода за тюремные ворота. Все давно опостылело, а теперь и вовсе было несносно. Время и прежде ползло черепахой, а теперь и вовсе замерло. Тоска и прежде грызла, а теперь и вовсе поедом ела.

Громко прозвучал сигнал  
В гавани на корабле.  
Громко прозвучал сигнал,  
С моря он летит к земле<sup>1</sup>.

Вот этого они теперь ждали денно и нощно. Ждали, ждали... Но громкого сигнала не доносилось из гавани. И не летел трехмачтовый шлюп к земле Хоккайдо.

Какое «летел»! С медлительным упорством одолевал он встречный южный ветер. «Диана» уже побывала в Охотске, Рикорд уже располагал документами, залогом свободы его товарищей, все было бы отменно, когда б не это огромное Охотское море. Северная часть его лежала в тех же широтах, что и Англия, южная — на параллели Севастополя. В Черном Рикорд не ходил, но Северное помнил с юности. Да разве сравнишь тамошние туманы и штормы со здешними, охотскими? И этот проклятый встречный ветер...

Три недели шел Рикорд из Охотска до Хоккайдо. Еще бы часов семь-шесть ходу, и «Диана» укрылась бы в безопасном заливе. Этих часов-то и не хватило. Штормовой ветер налился ураганной силой, лавировать было бессмысленно и опасно, спасти могло лишь открытое море. И желанный остров Хоккайдо пропал из виду.

Рикорд понурился: пора равноденственных бурь. Значит, улепетывать в Петропавловск? Значит, изживать еще месяцы и месяцы, зная, как ждут тебя в Хакодате? Но, может быть, спуститься к Гавайям, коротенько зимовать в раю, с апрельскими ветрами вновь достичь Хоккайдо?

Офицеры поддержали Петра Ивановича. Но курс на Гавайи означал курс на уменьшение ежедневной порции питьевой воды. На каких весах взвесишь, что легче, жажда иль голод? Но и матросы поддержали Рикорда: много терпели, еще потерпим, лишь бы скорее вызволить «наших, дианских».

И все ж Рикорд медлил. Он медлил на авось. Чем черт не шутит, глядишь, и утихнет... А бури гремели двенадцать дней,

<sup>1</sup> Китахара Хакусю. Земля и море. Перевод с японского В. Н. Марковой.

двенадцать дней спорила с бурями команда. И переспорила. Как-то в одночасье все стихло, потянули спокойные, переменные ветры. Редкостное и радостное исключение из сурового жесткого правила.

На морях, как и в жизни, за светлое платят черным. Расплатились и на «Диане»: умер матрос, один из тех, кто давным-давно покинул Кронштадт. Его хоронили как православного: пели «Святый боже»; его хоронили как моряка: зашили в парусину, к ногам привязали ядро; его хоронили как близкого: плакали матросы, плакали офицеры, плакал Рикорд. «Не многие могут понять, — записал Петр Иванович, — каким чувством дружбы связуется на одном корабле маленькое общество, отлученное на столь долгое время от друзей и родственников».

Милость ветров сродни королевской: она не отличается постоянством, ею надо пользоваться, не теряясь. «Диана» лавировала в прибрежных водах. Японцы прислали лоцмана. Прислали и шлюпки с пресной водою, рыбой, зеленью. От платы японцы отказывались. Потом с одной из шлюпок (она несла белый флаг, на ней горели фонари, дело было вечером) окликнули Рикорда. Петр Иванович узнал голос Такатая-Кахи. Кахи на днях отряс с ног острожный прах; его продержали под стражей, исследуя, не зачумился ли купец иностранцией. А сейчас «благородный и усердный» Такатай-Кахи поднимался на борт «Дианы».

«Мы, — записал Рикорд, — обрадовались чрезвычайно его прибытию, и он со своей стороны не менее показывал радости, видя, что желание его, которое он нередко в бытность свою у нас изъявлял, ныне исполняется».

В обширном Хакодатском заливе шлюп окружило множество казенных гребных судов: их пригнала не любезность и не любознательность, а указание портового начальства — для караула.

Два с лишним года назад на острове Кунашир связанный по рукам и ногам штурман Андрей Ильич Хлебников указал своему командиру, тоже связанному по рукам и ногам, на залив Измены, на мачты и паруса «Дианы»: «Взгляните в последний раз...» Два с лишним года спустя, прильнув к окнам, штурман, капитан-лейтенант, матросы глядели неотрывно, как лавирует их спасительница «Диана».

Из Мацмая без опозданий и проволочек, свойственных сановникам, приехал губернатор. Едва шлюп убрал паруса и отдал якорь, губернатору вручили документы, выправленные в России.

Эти документы не отягощали ни царский, ни министерский сургуч. Их «скрепляли» подпись начальника Охотского порта Миницкого, подпись Трескина, иркутского губернатора. Переговоры, как начались, так и завершились на «губернаторском уровне». Совещания в верхах не потребовалось, хотя переговоры были важными — о ликвидации вооруженного конфликта.

Японцы поздравили Головнина. Казалось, беда, по слову поэта, «исчезла, утопая в сиянье голубого дня». Но в «голубом дне» бродила мрачная тень мичмана Федора Мура.

Он рад был бы служить; японцы не приняли его в службу. Ему не тошно было бы и прислуживаться; японцы не приняли его даже в прислужники. В России мичмана ждал военный суд. Может, и не скорый, но правый. С появлением «Дианы» Мур судорожно потщился сорвать переговоры. Навета лучшего не выдумал, как опорочить бумаги, доставленные Рикордом: они-де полны угроз и непристойностей, они оскорбительны для губернатора и всей Японии. Ему не вняли. Он обреченно умолк<sup>1</sup>.

Свобода готова была встретить Головнина у морских ворот Хакодате. Не братья, но уже и не враги отдали «меч»: Головину вернули саблю. Отныне и окончательно он не считался пленником.

И вот день, пятый день октября 1813 года, навсегда запечатлевшийся в душе и Головнина и Рикорда, — день свидания. Оба тождественны в своих записках, предоставляя читателю понять, что они тогда испытывали... И оба запомнили, что разговор долго не попадал в ровную колею, хотя никто не торопил друзей и никто не прислушивался к их голосам.

Но, повествуя о столь примечательном и волнующем событии, Головин верен своей ироничности. На сей раз Василий Михайлович иронизирует над собою: офицерская треуголка покоилась на волосах, обстриженных «в кружок, по-малороссийски», сабля болталась на шелковых шароварах японского образца. «Жаль только, — шутит Головин, — что в Хакодате, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил длинную свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде».

Рикорд же, тоже не без юмора, описывает пререкания с Та-

<sup>1</sup> Мичман Мур вынужден был вернуться в Россию. От позора спасти смертью: наложил на себя руки. Не умел жить, так хоть сумел умереть... Его прежние товарищи не унизились до сведения счетов с покойным. Надпись на могиле гласила: «В Японии оставил его провождавший на пути сей жизни ангел хранитель. Отчаяние ввергло его в жестокие заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Поптите память его слезою...»

катаем-Кахи, верховным церемониймейстером всех его дипломатических сношений с японцами. «Проблема сапог» оказалась главной. Местом берегового randevu с Головниным назначили таможню; в казенном помещении Петру Ивановичу нужно было разуться и шествовать в одних чулках. Мундир, сабля, шляпа. И без сапог? Курам на смех! Мудрый Кахи съскал лазейку. Пусть-ка Петр Иванович обуяет башмаки, а уж он, Кахи, уломает чиновников: дескать, башмаки все равно что чулки. На том и согласились. А другой просьбе своего наставника Рикорд и вовсе не перечил — отказался от пушечного салюта. Японцы не могли взять в толк, зачем почести оказывать стрельбой из пушек, назначение которых убивать и разрушать? Недоумение японцев было резонным. Во всяком случае, Рикорд резон здесь усмотрел<sup>1</sup>.

На другой день состоялась прощальная аудиенция. Губернатор поднял над головой плотный лист бумаги, испещренной иероглифами, торжественно объявил:

— Это повеление правительства.

Документ возвещал, что отныне и навсегда поступки лейтенанта Хвостова признаются «своеволием», а не действиями, согласованными с Петербургом, а посему и прекращается пленение капитана «Дианы».

Затем была прочитана другая бумага. Уже не правительенная, а губернаторская. Теске тут же перевел ее. Она гласила:

«С третьего года вы находились в пограничном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь; это мне очень приятно. Вы, г. Головнин, как старший из своих товарищ, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько познали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому, по возвращении в ваше отчество, о сем постановлении нашем объявите. В нашей земле желали бы сделать все возможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собою разнящиеся, но прямо добрые дела везде таковыми считаются;

<sup>1</sup> Адмирал Путятин (1803—1883), будучи в Нагасаки в 1854 году, напротив, не согласился с просьбой японцев об отмене пушечного салюта и открыл оглушительную пальбу, к вящему удовольствию как своих офицеров, так и писателя Ивана Александровича Гончарова, прикомандированного секретарем к адмиральской особе. См. И. Гончаров, Русские в Японии в начале 1853 и конце 1854 годов. Из путевых заметок. Спб., 1855.

о чём также у себя объявите. Желаю вам благополучного пути»<sup>1</sup>.

И приближенные правители Мацмая тоже поднесли Василию Михайловичу нечто вроде грамоты. В ней между прочим было сказано: «Время отбытия вашего уже пришло, но, по долговременному вашему здесь пребыванию, мы к вам привыкли и расставаться нам с вами жалко... Берегите себя в пути, о чём и мы молим бога».

А потом подарки, подарки. Словно бы при нынешнем обмене делегациями. Японцы — русским: ящики с лакированной посудой, мешки с пшеницей, бочонки саке, свежую и соленую рыбу. Русские — японцам: атлас Крузенштерна и Лаперуза, портреты Кутузова и Багратиона (принятые с особенной благодарностью).

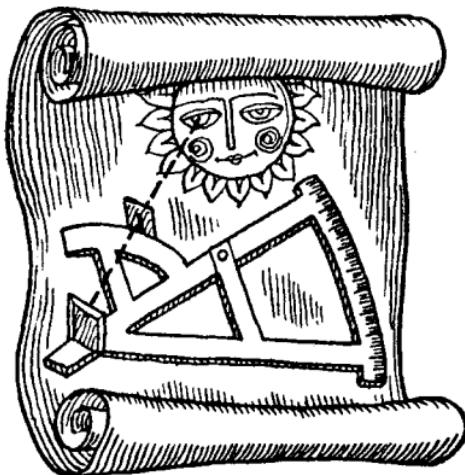
Два года, два месяца и двадцать шесть дней минуло с того часа, когда Василий Михайлович в последний раз спустился по трапу своего корабля. 7 октября 1813 года он поднялся на палубу «Дианы». Он был встречен не просто офицерами, не просто матросами, нет, «братьями и искренними друзьями».

В этот же день — день радостных слез и бурного ликования — на «Диану» хлынули солдаты и рыбаки, горожане и крестьяне, молодые и старые, женщины и дети. «Мы, — пишет Головнин, — не хотели отказать им в удовольствии видеть наши редкости, которые для них были крайне любопытны, а особенно украшения в каюте, убранной Рикордом с особым вкусом... Посетители наши не оставляли нас до самой ночи; только с заходением солнца получили мы покой и время разговаривать о происшествиях, в России случившихся, и о наших приключениях».

Последними с ними простился Такатай-Кахи. Годы спустя и капитан Головнин и капитан Рикорд поместили в своих книгах изображение Такатая-Кахи. Долг платежом красен.

Одиссей закончил долгую одиссею прибытием на остров Итаку. В одиссее Головнина остров Хоккайдо лежит на полпути.

<sup>1</sup> Примечательные слова о добрых делах, которые «везде таковыми считаются», были приведены П. И. Рикордом в официальном отчете о плавании к японским берегам. Привел их и Генрих Гейне в своей книге «Людвиг Берне», сославшись на В. М. Головнина.



## Глава пятая

1

Если говорить о воде, то за эти семь лет невской воды утекло пропасть. Если говорить о совпадениях, то они действительно приключаются: Головнин оставил Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1807 года, Головнин вернулся в Петербург в десятом часу вечера 22 июля 1814 года.

Еще недавно пепел Москвы как бы повевал площади и проспекты Петербурга. Казармы пустовали: войска были в походе. Опустели посольства: послы, кроме английского, уехали. Чиновники со своим домашним добром, потеснив казенное имущество, ретировались на баржах. Эрмитажные сокровища увезли. Банк и ломбард закрыли.

В каналах стояли наготове разномастные посудины, готовые принять беженцев. Фельдъегерей из армии боялись как вестников новых несчастий. Государь скрылся на Каменном острове, курьеров к нему не пускали, заворачивали на Лиговку, к дому Аракчеева.

Но вот грянуло контрнаступление. Все сживились. На театрах затанцевали и запели. Император поехал к «своим» победоносным войскам.

В разгар лета 1813 года Петербург погребал Кутузова. За две версты от заставы толпы «простолюдинов» выпрягли лошадей и медленно, с опущенными головами, повлекли колесницу к Казанскому собору. Теперь, когда воинская страда близилась к развязке, император, Александр уронил слезинку, «письменную» по крайней мере: «Не вы одна проливаете об нем слезы, — сообщил царь вдове фельдмаршала, — с вами плачу Я и плачет вся Россия».

В разгар весны 1814 года в Казанский собор внесли французские знамена. Падение Парижа возвестил сто пятьдесят один залп орудий Петропавловской крепости.

Начались торжества. Из Франции возвращались дивизии. Они слушали благодарственный молебен. Полиция, как сообщает очевидец-офицер, «нешадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление».

Так было близ Петербурга, в Ораниенбауме. Потом в город, где уж неделю жил Головнин, вступала 1-я гвардейская дивизия. Государь, обнажив шпагу, гарцевал на рослом рыжем жеребце. Все сияло, и все сияли. Публика кричала «ура». Император улыбался. «Мы им любовались, — признается будущий декабрист, — но в самую эту минуту перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было первое мое разочарование на его счет».

Император, преследующий русского мужика, одного из тех, кто кровью оплатил победу, полицейские дубинки на его кручинной голове — какова картина и каков символ! Контраст между освобожденной Европой и освободителями Европы блеснул в глаза. А на триумфальных арках начертано было: «Награда в Отечестве».

Первые неблагоприятные впечатления, первые разочарования. К ним прибавились иные, набегая и наславаясь. Возникал оппозиционный дух. Но потребовались годы, чтобы заклокотал он пестелевским «Духом Преобразований».

А что же японский пленник? Ослепительная радость утишилась: все-таки уж три четверти года как Головнин оставил Хоккайдо. Распрощался с Петром Ивановичем, рас прощался с «Дианой»<sup>1</sup>, решительно и вдруг одряхлевшей, как бывает и с людьми и с кораблями. И конечно, особенно сердечно обнял тех, кто делил с ним горечь плена. Головнин, рассказывает современник, «назначил из собственного незначительного состояния единовременные пособия всем бывшим с ним в плена матросам, а одному из них производил пеңсию до конца жизни».

Рикорд остался в Петропавловске, принял бразды камчатского правления, а Головнин повторил недавнее странствие своего друга, то бишь добрался до Иркутска зимней дорогой,

<sup>1</sup> «Диана» умирала в одном из закоулков Петропавловской гавани. В 1816 году ее медная обшивка пригодилась бригу «Рюрик», совершившему кругосветное исследовательское плавание под командой О. Е. Коцебу. См. Ю. Да вы до в, Капитаны ищут путь. М., 1966.

вернее — бездорожьем: на собаках, на оленях, на коне... А из Иркутска, летним уже путем, сквозь пыль и дожди, пустился Сибирским трактом в беспредельность вновь обретенной родины...

Лоренс Стерн, создатель «Сентиментального путешествия», лукавства ради определил странствия по полочкам: праздные, лживые, гордые, мрачные, чувствительные и т. д.

Полковник Федор Глинка, современник Головнина, издал в 1808 году «Письма русского офицера»; в них прощупывается радищевская традиция. К следующему изданию полковник добавил «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии».

Федор Глинка как саблей отсек свое авторское «я» от стерновской классификации. И от эпигонов Карамзина. Глинка бранился: «О дураки, дураки — чувствительные путешественники».

Головнин, конечно, читал «Замечания» Глинки. Но читал-то уже тогда, когда написал свои записки о пребывании в японском плену. А еще раньше он вел дневник на великом пути от Тихого океана, то есть именно в «отечественных губерниях». Этот путевой журнал хранился в гулинском имении; в 1848 году сын Головнина передал автограф историку Погодину<sup>1</sup>.

Только про то я и дознался в материалах Отдела рукописей бывшего Румянцевского музея. Однако об «отечественных губерниях» критически рассуждал Василий Михайлович и в камчатских заметках и в карандашных примечаниях на полях «Двукратного путешествия» Гаврилы Давыдова. Нет сомнения, что и в дорожном журнале Головнина звучала радищевская интонация. «Записки» Головнина соседствовали с «Записками» Глинки и совсем не походили на гоголь-моголь карамзинского охвостья.

В Петербурге Василий Михайлович тотчас очинил перья. Он был полон энергии. И бодрости: через день после приезда в столицу капитан-лейтенанта «всемилостивейше пожаловали»

<sup>1</sup> Судьбы рукописей и людей порой причудливо сплетаются. В 1864 году старец Глинка сообщал из Твери М. П. Погодину: «Знаете ли, что у меня находится большая тетрадь... (неразб. одно слово) бумаги, исписанная мелким почерком. Это тетрадь — японская бумага; это собственноручный почерк Вас. Мих. Головнина. Драгоценный в своем роде, этот манускрипт принадлежал П. Ив. Рикорду».

Одаривая Глинку, адмирал Рикорд сказал: «Возьмите же в коллекцию Ваших любопытных бумаг этот портфель. В нем вся жизнь друга моего Головнина, написанная им в японской клетке».

Разбирая портфель, Глинка «не один раз испытал чувство глубокого умиления, читая строки, на которые, может быть, падали слезы благородного узника. Положение его было ужасно!»

Письмо Ф. Н. Глинки сохранилось среди неопубликованных документов М. П. Погодина.

капитаном второго ранга, пожизненным пенсионом в полторы тысячи рублей годовых.

В ту пору город на Неве видел немало славных воинов, громкие имена раздавались повсюду. Но этот хор не поглотил имени Головнина. Его положение было редчайшим: русский из Японии, русский из какой-то неведомой, загадочной страны. У Василия Михайловича хватало ума понимать, что исключительность создали обстоятельства, от него не зависевшие. Как бы ни было, положение обязывало не ударить лицом в грязь. И он усердно трудился.

В Московском архиве литературы и искусства мне попался пожухлый листок от 11 ноября 1814 года. Коротенькая записочка Головнина каким-то образом очутилась в коллекции поэта Тютчева. Вот она:

«Милостивый государь Карл Иванович, имею честь пропроводить к Вам десять тетрадей моего путешествия, к переводу коих Вы можете приступить. Прошу покорнейше работу нашу держать в тайне».

Кто сей Карл Иванович, архивисты не установили. Отгадать не трудно: на лейпцигском двухтомном издании Головнина значится имя переводчика Карла Иоганна Шульца. Главное, впрочем, не фамилия, а то, что за несколько месяцев Головнин написал десять тетрадей, и эти тетради получил переводчик. (Почему Василий Михайлович просил «работу нашу держать в тайне», не догадываюсь.) И опять-таки главное не в наличии десяти тетрадей, а в их содержании.

«Записки» эти явились русской публике как откровение. Их автор совлек сумеречный, зыбкий покров с удивительного островного государства. Головнин навел на него то заветное зеркало, о котором позже сказал Пушкин: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаяев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Что сыскал бы о Японии дотошный русский книжный 1814—1815 годов? Жалкие крохи. Да к тому же подобранные зачастую с чужого стола. Семь страничек в «Полном географическом лексиконе»; переведенную со шведского статейку в «Новых ежемесячных сочинениях»; заметочку Карамзина в «Вестнике Европы»; тощую брошюрку о первом русском посольстве в Японию; три странички во «Всемирном русском путешественнике» да столь же в переводной с французского «Дорожной географии»...

Географ Венюков еще и полвека спустя отмечал: «Головнин к описанию своих приключений присоединил и систематическое описание Японского государства — единственное оригинальное сочинение на русском языке».

Какой же приманчивой новинкой было это оригинальное сочинение в начале века! Чернила еще не успели высохнуть, а уж в типографии Дрехслера набирали отрывок из «Записок» мореплавателя для очередного номера «Сына отечества». Семь раз популярный журнал «изымал» у Василия Михайловича его тетради. Спохватились и москвичи — лидер тогдашней периодики «Вестник Европы». А «Русский вестник», тоже московский, напечатал сверх того рассказ Рикорда о плаваниях к японским берегам ради спасения Головнина. Наконец, в 1816 году книгопродавцы получили отдельное издание в трех частях.

Читательская жадность во многом, конечно, объяснялась сенсационностью материала. Но не только. Мореплаватель Крузенштерн говоривал, что моряки пишут худо, зато искренне. Искренность головнинских «Записок» подкупавшая. Но и самое изложение отличается той легкостью, которая дается нелегко, и той выразительностью, которая присуща художническим натурам.

В январе 1817 года в Петербурге, в зале Публичной библиотеки выступал Николай Иванович Греч (тогда еще не холопствующий). Греч критически обозревал русскую литературу минувшего двухлетия. Он сказал:

— На «Записках» господина Головнина наблюдатель отечественного просвещения не может не остановить особенного внимания, какого книга сия во всех отношениях достойна. И в самом деле, сколько положение самого сочинителя в пленау возбуждает любопытство читателей, столько необыкновенный своей простотою и истиною слог его вселяет к нему совершенную доверенность... Кроме, может быть, путешествия английского капитана Флиндерса, во всей Европе в последние годы не выходило по сей части книг, которые важностью и занимательностью своею могли бы сравниться с сими записками.

В феврале того же восемьсот семнадцатого поэт Батюшков, сидя в деревенской зимней глухи, познакомился с книгой Василия Михайловича. Батюшков отозвался кратко и сильно: «Недавно прочитал Монтеня у японцев, то есть Головнина Записки. Вот человек, вот проза!»

Французский философ Монтень писал свои знаменитые «Опыты» в трудные, бурные времена, «при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием», а между тем сумел

сохранить спокойную объективность. Такую же благороднуюдержанность уловил Батюшков и в прозе капитана «Дианы». (Много позже, десятилетия спустя, рассыпал ее и автор журнала «Морской сборник»: «Головнин, несмотря на перенесенные им бедствия, неразлучные с положением пленного, отзывается вообще о японцах как о племени великодушном и кротком».)

Друг Пушкина, поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер дважды обращался к творчеству Головнина. Высокое достоинство его прозы отметил Кюхельбекер в статье для журнала «Невский зритель». А в 1832 году, будучи узником Свеаборгской крепости, занес в дневник: «Целый день читал записки В. Головнина. Книга такова, что трудно от нее оторваться». И далее: «Записки В. Головнина — без сомнения, одни из лучших и умнейших на русском языке и по слогу и по содержанию».

Еще при жизни Головнина был у него жадный благодарный читатель: будущий автор «Фрегата «Паллада». Ссылки на Головнина у Гончарова неоднократны. Суть не только в том, что знаменитого романиста занимали мнения предшественника. Суть еще вот в чем: «Гончарова не мог не привлекать поистине реалистический метод, которым пользовался Головнин как художник-очеркист, хотя в «Записках» есть и некоторые элементы сентиментального стиля. Не мог не увлечь Гончарова и великолепный русский литературный язык Головнина, сочный, образный, меткий»<sup>1</sup>.

Век минувший не баловал сочинителей тиражами. И переизданиями тоже. Общий тираж книг Головнина я не сумел установить. Переиздания легко определить по каталогам. Каталоги свидетельствуют: книги Головнина не утрачивали притягательной силы, читательский интерес к ним не затухал. Они сходили с типографских станков и при жизни автора и после его кончины. И не в одной лишь России.

Лондонские книгопродацы получали их трижды: в 1818, 1824, 1853 годах. Французы и немцы, швейцарцы, датчане,

<sup>1</sup> В. А. Михельсон. «Записки» В. М. Головнина и «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова. Эта обстоятельная статья, единственная, кажется, в своем роде, помещена в Ученых записках Краснодарского педагогического института, вып. XIII, 1955.

Вообще же Василию Михайловичу, что называется, не повезло: нынешние литературоведы, даже авторы узкоспециальных работ, замалчивают Головнина. Так, например, В. П. Вильчинский, исследователь русской маринистики, лишь мимоходом назвал его имя. Приходится довольствоваться общим (впрочем, справедливым) утверждением: «Жанр морских путешествий, в истории которого необходимо учитывать его ранних представителей, получил широкое распространение в середине XIX в. в творчестве выдающихся мастеров критического реализма». В. П. Вильчинский, «Русские писатели-маринисты». М. — Л., 1966.

голландцы — в один год, в восемьсот восемнадцатом. Поляки — в восемьсот двадцать третьем. Это была всеевропейская известность... А японцы увидели записки Василия Михайловича только сто с лишним лет спустя. Первое (иллюстрированное) издание осуществило 2-е управление Военно-морского штаба; затем, в 1943 году, в Токио появился двухтомник, еще несколько лет спустя — трехтомник. Это уж было как бы посмертное возвращение капитана «Дианы» в Страну Восходящего Солнца.

Как случается лишь с отменно добрыми книгами, «Записки» Головнина, адресованные вовсе не отрокам, утвердились в круге юношеского чтения. В 1864 году было выдано в свет первое издание для детей. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия «Записки» шли нарасхват: издания девяносто первого года и девяносто шестого, девятьсот второго и девятьсот девятого. К тому же и беллетристы частенько баловались переложением прозы Головнина. Правда, не ей на пользу, а самим себе.

Признание не шло за гробом Головнина. Оно досталось Василию Михайловичу в сочную пору жизни.

В марте 1818 года Вольное общество любителей российской словесности почтило Головнина званием почетного члена. В списке имя его значилось тридцатым. Ниже читашь: «Ермолов Алексей Петрович, Крылов Иван Андреевич, Жуковский Василий Андреевич, Батюшков Константин Николаевич...»

Общество негласно примикило к декабристскому Союзу Благоденствия (подобно «Зеленой лампе», Военному обществу при штабе Гвардейского корпуса). В среде любителей российской словесности подвизались и господа, чуждые не только революционности, но даже оппозиционности. Однако, быть может, достойно внимания в ремя баллотировки Головнина. Буквально только что, в конце февраля, писатель Федор Глинка — фактический лидер общества и видная фигура Союза Благоденствия — добился уставного избавления от «случайных людей». Глинка с единомышленниками клонили к тому, чтобы создать «ученую республику». Они своего добились. Ядром стали будущие деятели 14 декабря. В этой-то «республике» Головнин не считался лишним.

«Форма избрания» предусматривала непременную явку избираемого. Правда, почетные члены «из сего правила изъемливались». Впрочем, и не случись «изъятия», Головнин никак не мог бы явиться: в марте 1818 года он огибал Маркизские острова.

Не явился бы он и на Васильевский остров, в Академию

наук, где с мая 1818 года «почтенного мужа, г. флота капитана и кавалера» дожидался диплом члена-корреспондента: в мае Василий Михайлович уже был на другом краю России, в Петропавловске, там обнимал старинного друга своего Петра Ивановича Рикорда, который, кстати сказать, почти одновременно с ним (разница в днях) удостоился той же академической чести. Но с некоторой разницей: Головнин — «за отличное в науках упражнение», Рикорд — «по разряду географии и навигации».

2

Молодой Брюсов однажды заметил: «Никогда самая искусная марина не заменит путешественнику вид на океан, уже по одному тому, что в лицо ему не будет веять соленый запах и не будет слышно ударов волн о береговые камни».

Не знаю, украсил ли Головнин свой петербургский угол (по чину полагались две комнаты) или гулынский дом (где пожил в шестнадцатом году) «искусными маринами». Если и украсил, то они и впрямь не заменили ему «вид на океан».

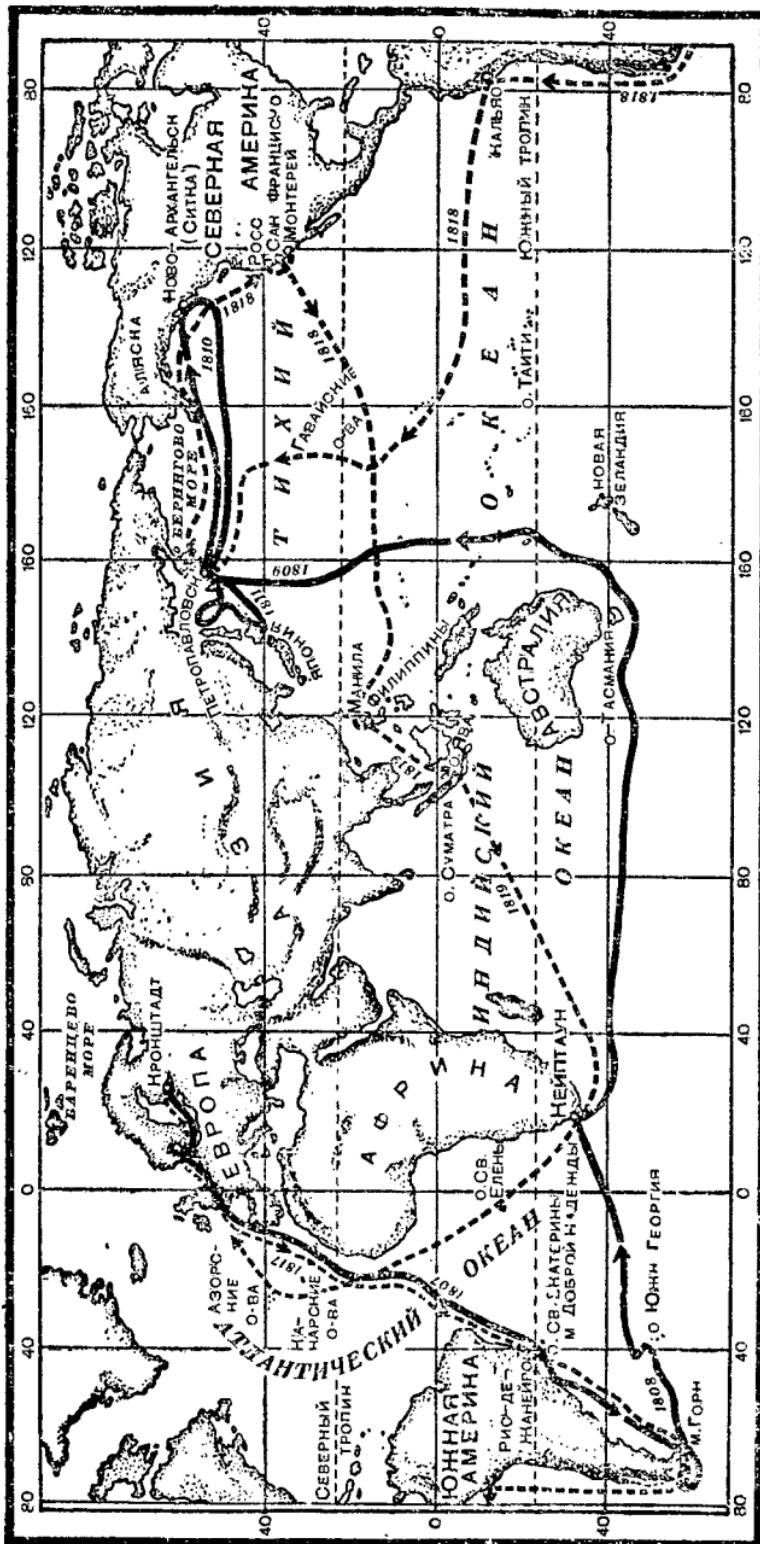
Было бы куда как романтично описать порыв героя к убаражающему морскому горизонту, жажду буйных ветров, тоску по белоснежным парусам и т. д. и т. п. Но с Головнином не управляешься традиционными приемами.

Противоречивые чувства владели Василием Михайловичем при назначении командиром кругосветного корабля. Предстоял долгий поход, на два-три года. А в Петербурге — Евдокия. Евдокия Степановна Лутковская, дочь отставного офицера, сестра четырех моряков. Головнин не был влюблен: он любил. Головнин посватался, ему не отказали. Ничто не загораживало аналой. Ничто не мешало священнику процитировать у аналоя апостола Павла: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя».

И вдруг — шлюп «Камчатка», кругосветное плавание, десятки тысяч миль, тысячи дней и ночей в разлуке. Он не повел Евдокию под венец. Он просил ждать его.

Было ль то испытательным сроком? Или беспредельностью веры? Или не хотел Головнин обречь ее на вдовство, памятую участь мореходов? Или сам не хотел оставаться соломенным вдовцом?

Как бы там ни было, а свадьбу не играли. И ничего не сделал Головнин, чтобы увильнуть от похода. Между тем человеку его положения, известности, веса, очевидно, удалось



Маршрут плаваний В. М. Головнина на шлюпах «Диана» и «Камчатка».

бы пристроиться либо в Адмиралтействе, либо в Кронштадте, либо на каком-нибудь балтийском корабле.

Принимаясь готовить экспедицию, Василий Михайлович испытывал то душевное состояние, которое не располагает к улыбчивости. И кто поручится, не посещали ль его слабость, уныние, печаль? Но сказано: работа — губка, она поглощает сердечную боль. А работушка привалила Василию Михайловичу многопудовая.

Десять лет назад лейтенанту, командиру «Дианы», дали некоторые письменные напутствия. Десять лет спустя почетному члену Адмиралтейского департамента, капитану второго ранга, командиру «Камчатки» объявили:

— Ныне департамент, удостоверясь на опыте в ваших познаниях и способностях, не находит надобности повторять тех же предписаний и полагается во всем на ваше искусство и благородумие.

Экспедиция преследовала тройкую цель. Две копировали задачи «Дианы»: доставка тяжелых грузов в Петропавловск и Охотск, картирование тех островов и берегов в северной части Тихого океана, которые еще не были определены астрономическими способами. Третья цель была весьма щекотливого свойства: Головнина посыпали ревизором.

Его обязали исследовать положение коренного, туземного населения в колониях Российско-Американской компании. Требовался человек, по должности независимый от компанейских купцов-воротил. Головнин, офицер флота, от них не зависел. Он «зависел» от своих взглядов. Честность и прямота его были известны. И надо полагать, главные акционеры не очень-то радовались сему «препоручению», хоть и состояли «под высочайшим покровительством».

Российско-Американская компания жирела на добыче пушнины. Самыми желанными считались морские бобры. А самыми лучшими, споровистыми, неутомимыми добытчиками считались алеуты. Их-то и ввергли в холопство. Никакими параграфами, пунктами, законами отношения предпринимателей и туземцев не регулировались. В стране огромных и громоздких канцелярий верховодила, в сущности, незримая Канцелярия-Пограблению.

Из-за тридевяти земель, с океанских островов и прибрежий доносился такой тяжкий стон, такие слезные мольбы, что даже привычно-глухих сановников иногда подирал морозец.

В пору снаряжения «Камчатки» генерал-губернатором Сибири был Пестель, отец декабриста. (Тут-то уж и вправду сын за отца не ответчик.) Герцен определял Пестеля-старшего сат-

рапом, да еще из худших. Так вот, генерал-губернатор летом 1817 года просил морского министра маркиза де Траверсе отрядить ревизором «морского чиновника». Пусть-де удостоверится в «обидах беззащитных островитян».

Маркиз прохлаждался неподалеку от Петербурга, в имении. Он лакомился русской природой и продувной француженкой, которой, говорят, строил куры сам государь. На лоне министр и подмахнул инструкцию № 1510: инструкцию о «рассмотрении положения жителей колоний, принадлежащих Российско-Американской компании». Как Василий Михайлович исполнил ее — увидим позже.

А пока он в хлопотах, в разъездах из Петербурга в Кронштадт и обратно. Благо дымит и колотит плициами «Елизавета», и теперь от столицы до кронштадтских рейдов добираешься часа за три<sup>1</sup>.

Он не изменил своему правилу: команду набирал по добруму согласию, офицеров тоже, и притом лишь тех, чье мастерство не вызывало сомнений. Впрочем, нет, были исключения из правила. Одно по просьбе безвестного мичмана, другое по просьбе известного мореплавателя, третье, очевидно, по просьбе столь «важной» особы, что Головнин не устоял.

Безвестный мичман не отличался богатырским сложением. Рыжеватый блондин, он смотрел на Василия Михайловича преданно и восторженно, как паж на короля. Фердинанд Врангель самовольно покинул фрегат, на какой-то лайбе пришел из Ревеля и вот был целом: возьмите в кругосветное путешествие. Сделайте милость, возьмите! Может, Головнину вспомнился другой мичман-мечтатель? Тот тоже не имел покровителей во флоте. И Головнин «устроил» нарушителя дисциплины на шлюп «Камчатка».

Ну, хорошо, Врангель мог козырнуть отменной аттестацией, полученной в Морском корпусе. А вот этот юнец едва оперился в Царскосельском лицее. Лицеисты, поди, не отличают грат-мачту от якорного каната! Да что тут попишешь, коли просит за Федора Матюшкина старший и старый товарищ — Крузенштерн? (А Крузенштерна просил директор лицея, известный педагог и добрейшая душа Егор Антонович Энгель-

<sup>1</sup> Первый русский пароход, построенный петербургским заводчиком шотландцем Карлом Бердом, совершил свой первый рейс Петербург — Кронштадт в ноябре 1815 года. «Елизавета» имела машину в четыре лошадиные силы и покрывала в час около девяти верст.

П. И. Рикорд опубликовал в «Сыне Отечества» специальную статью о преимуществах паровых судов и блистательной их будущности. Рикорд, «классик» парусного флота, прежде многих и многих коллег разглядел «закат парусов». Печальный, но неизбежный.

гардт.) И вот уж в июле 1817 года читает Головнин благодарственное письмо из Царского Села, письмо, поныне хранящееся в Пушкинском доме.

Если радеешь незнакомым, как не порадеть почти родственникам?! И наш мореход, большой противник протекций, не противится настоящим невестам. У Евдокии-то братья в корпусе. А какой гардемарин не жаждет кругосветки? Гм! Так-то оно так, да вот этот самый Ардальон не медальон. Непутевый малый, ей-богу. Подумать только, молоко на губах не обсохло... Э-э, какое «молоко», ежели разжалован Ардальон из гардемаринов в матросы второй статьи за пьянство! А у Евдокии вся надежда на тяжелую крепкую женихову руку. И Головнин принимает под свою руку бесшабашного Ардальона Лутковского. Но вроде бы и «компенсирует» его другим Лутковским, Феопемтом — спокойным, дельным, знающим английский и французский языки<sup>1</sup>.

В конце августа кончились сборы. «Камчатку» снарядили, экипаж снарядился. Гребные баркасы вывели шлюп на Большой рейд. Туда, откуда «в предназначеннное плавание идут тяжелые корабли».

Бердовская «Елизавета» привезла в Кронштадт бывшего лицеиста Федора Матюшкина. Строгий и осторожный ученый М. А. Цявловский указывает: «Если Пушкин вернулся в Петербург из Михайловского до 26 августа, то, возможно, он провожал Матюшкина до Кронштадта».

Они были однокашниками и друзьями. Академик Е. В. Тарле в письме к автору этих строк говорил: «Пушкин, может быть, только Дельвига и Пущина так любил, как Матюшкина». Несомненно!

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,  
Чужих небес любовник беспокойный?  
Иль снова ты проходишь тропик знайный  
И вечный лед полуночных морей?  
Счастливый путь!.. С лицейского порога  
Ты на корабль перешагнул шутя,  
И с той поры в морях твоя дорога,  
О, воли и бурь любимое дитя!  
Ты сохранил в блуждающей судьбе

<sup>1</sup> Ардальону Лутковскому (очевидно, заступничеством будущего шурина) вернули звание гардемарина. Служил он не долго: в 1822 году погиб у берегов Голландии.

О Феопемте речь впереди.

Двое других из морского гнезда Лутковских, Нил и Петр, были удачливее Ардальона. Нил дрался с французами во время Отечественной войны, получил боевой орден; в год отправления «Камчатки» находился в Свеаборге. Петр Лутковский пережил братьев и умер в 1882 году полным адмиралом.

Прекрасных лет первоначальны нравы:  
Лицейский шум, лицейские забавы  
Средь бурных волн мечталися тебе;  
Ты простирая из-за моря нам руку,  
Ты нас одних в младой душе носил  
И повторял: на долгую разлуку  
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Поступая в ученье к Головину, Матюшкин имел дружеское и настоятельное поручение Пушкина. Долгое время считалось, что Матюшкин не выполнил его. Нет, выполнил. Убедимся чуть позже.

Было бы очень и очень заманчиво свести под кронштадтским небом юного Пушкина и капитана Головина. Увы, даже если Пушкин и ездил в Кронштадт, Головин его не видел. И порукой тому дневник Федора Матюшкина: Матюшкин уже расположился на борту «Камчатки», а Василий Михайлович все еще задерживался в Петербурге. Чертовски жаль! Чтобы это ему появиться несколько раньше... Впрочем, кто знает, может, сурово-задумчивый Головин вовсе и не приметил бы молодого Пушкина?

### 3

Моря разъединяют континенты, корабли соединяют.

Вахты, мили, ветры, погоды существенны в жизни морехода. Но подлинное «золотое руно» аргонавтов в том, что открывается уму и взорам. «Камчатка» шла в мир. Мир наплывал на «Камчатку». Сто тридцать человек смотрели на этот пестрый, этот переменчивый, этот движущийся мир.

Стремление запечатлеть увиденное — не суетность, а потребность благородная. В каютах шлюпа четверо (по крайней мере) склонялись над столом с пером в руках.

Журналы Головина были изданы, мы в них заглянем. Записки мичмана Федора Литке и волонтера Федора Матюшкина больше века покоились под спудом. Дневник мичмана Врангеля исчез, кажется, навсегда.

Василий Михайлович адресовался в два адреса: к тем, кто пойдет курсом «Камчатки», и к тем, кто, не покидая очага, хотел видеть далекие страны. Молодые люди, подчиненные Головина, не рассчитывали на типографию.

Два с небольшим месяца после отплытия из Кронштадта, в ноябре 1817 года, корабль отдает якорь у берегов прекрасной и нищей Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Путешественники съезжают на берег.

Можно услышать грохот огромного водопада, и они слы-

шат его. Можно посетить театр, и они посещают. Можно насладиться игрою гитариста Жуана Мануэля де Сильва или ученика Гайдна пианиста Нейкома, и они наслаждаются. Можно приятно и не без пользы побеседовать с натуралистом Лангсдорфом, русским консулом в Рио, и они беседуют с Григорием Ивановичем Лангсдорфом. А еще можно попасть на улицу Волонга, где рынок черных рабов, или на невольничий корабль и призадуматься о многом.

«Сколь прискорбна мысль, — пишет мичман Федор Литке, — что одна из плодоноснейших стран в свете не может быть возделываема, словом сказать, не может иметь политического бытия, не лишая некоторого числа на несчастье рожденных людей драгоценнейшего и священнейшего права свободы. Португальцы говорят, что это необходимо, и престопокойно торгуют невольниками... Здесь есть улица, в коей продают негров. Она состоит из домов, или, лучше сказать, сараев, разгороженных на две половины. В одной продаются мужчины, в другой — женщины. Желающий купить является. Хозяин показывает ему своих негров, заставляет их делать разные телодвижения в доказательство здоровья их. Покупающий смотрит у них язык, как коновал смотрит у лошадей зубы. Товар продан — и бедный негр делается собственностью другого»<sup>1</sup>.

Матюшкин согласен с Литке. Но гнев Матюшкина накаленее. Он был и на улице Волонга и в плавучем португальском застенке:

«Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных бесчеловечных португальцев... Все, что себе можно вообразить отвратительного, представляется глазам нашим... Негры валяются везде и от боли стонут, другие с нетерпением и остерьвиением срывают у себя нарвы, по всему судну распространяется несносная, неприятная духота. Везде нечистота, неопрятность и нерадение португальцев видно. Они спокойно обедают (я был там в полдень), а недалеко от них несчастный полумертвый негр мучится, стонет и, кажется, издает последний вздох».

Матюшкин спустился в трюм, у него захватило дух: ребяташики, черные ребяташики. Он спросил, что же это такое, как же это можно? Ему отвечали «с совершенным хладнокровием: «Мы нашли за выгоднейшее возить детей, взрослых стараемся

<sup>1</sup> Двухтомные записки Ф. П. Литке хранятся в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота. Много времени и труда положил на разбор их ленинградский историк Б. Н. Комиссаров.

избежать, и когда уж нельзя избежать, то их содержим весьма строго, в цепях».

Матюшкинские записи отличаются особенным звучанием — тираноборческим. На «Камчатке» был он, пожалуй, самым «левым». Тому и причины есть и доказательства.

Восемнадцатилетний волонтер шагнул на корабль «с лицеекого порога». Лицей пушкинской поры не тихая заводь, не питомник благонамеренных чиновников, но рассадник вольномыслия. «Краеугольный камень» положили в души юношей Куницын и Малиновский, последователь Радищева. Они воспитали «пламень», который освещал и согревал пушкинский круг. К нему принадлежал и Федор Матюшкин.

У пушкинистов существовало предание: отправляясь в плавание с Головниным, волонтер собирался вести записи «по совету и плану Пушкина». А пушкинист М. А. Цявловский уже прямо указывал, что именно Пушкин изъяснял однокашнику и единомышленнику «настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы».

Десяток с лишним лет назад мне посчастливилось читать то, что по плану и совету своего друга исполнил Матюшкин на борту головининского щлюпа.

В отличие от Литке он не ограничился сочувственными эпитетами. Он жалел, что бразильские негры не «составят меж собой тайной братской союз»! Позднее, в Перу, он называет индейца, вождя повстанцев, «народным благодетелем»! И наконец, завершая дневник, берет грозный, торжественный аккорд: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтобы доставить подданным счастье, безопасность, но надо изгнать его из колоний — для блага всего человечества...»<sup>1</sup>

Русские «кругосветники» наложили позорное тавро на работорговлю, на рабство. Записки моряков смыкаются здесь с «негритянской темой», которая громко и явственно, долго и настойчиво звучала в русской литературе, у Радищева и у тех, кто «восслед Радищеву» «восславил свободу».

Негрофильство их не было лишь подражанием аббату Рейналю, автору «Философской и политической истории о колониях и торговле европейцев в Обеих Индиях». Оборотной стороной негрофильства было русофильство. Русофильство вполне определенного, хотя и потаенного, толка — печалась о черном рабе,

<sup>1</sup> Подробнее см. Ю. Давыдов, В морях и странствиях. М., 1956.

они печалились о рабе белом, о крепостном, клеймя португальского или испанского изверга, они клеймили изверга русского, крепостника-помещика. То были не просто кивки в заокеанскую сторону, но и призывы: «Обернись во гневе!»

Путевые записки мореходов при всем различии уровней — литературного, исторического, политического — схожи в одном: хоть убей, не выжмешь из них и пригоршню сведений о самой корабельщине<sup>1</sup>. Фамилии названы, и только. Ни внешних, ни внутренних примет. В дневнике Матюшкина ни строки о начальнике, о товарищах. Дневник Брангеля куда-то запропастился. Лишь из его беглых, отрывочных записей, изданных в Штутгарте в 1940 году, можно установить, что рыжеватый блондин был на шлюпе «правым», что ему претило «материалистическое направление» Литке... И только вот этот самый «материалист» помогает нам представить и «Камчатку» и — что важнее — командира «Камчатки».

Пятьдесят лет минуло. Бывший мичман, проказник и весельчак, обратился в знаменитого путешественника, члена-учредителя Русского географического общества, президента Академии наук. И тогда-то Литке помянул своего давнего наставника, капитана второго ранга Василия Михайловича Головнина:

«В его глазах все были равны... Ни малейшего ни с кем сближения. Всегда и везде командир; steif (непреклонный и недоступный) донельзя... Все его очень боялись, но вместе и уважали, за чувство долга, честность и благородство». И далее: «Его система была думать только о существе дела, не обращая никакого внимания на наружность... Щегольства у нас никакого не было, ни в вооружении, ни в работах, но люди знали отлично свое дело, все марсовые были в то же время и рулевыми, менялись через склянку, и все воротились домой здоровее, чем пошли... Я думаю, что наша «Камчатка» представляла в этом отношении странный контраст не только с позднейшими николаевскими судами, но даже с современными своими. После того, что я сказал о характере нашего капитана, излишне упоминать, что на «Камчатке» соблюдалась строгая дисциплина. Капитан первый показал пример строгого соблюдения своих обязанностей. Ни малейшего послабления ни себе, ни другим. В море он никогда не раздевался. Мне слу-

<sup>1</sup> В 1956 году в периодике мелькнула заметка Б. Полевого о двух письмах В. М. Головнина, написанных на борту «Камчатки». К сожалению, размеры газетной публикации не позволили автору привести выдержки из ценных автографов. Между тем, как сообщает Б. Полевой, «в обоих письмах имеется немало строк, говорящих об исключительно гуманном отношении русского мореплавателя к своим подчиненным».

Жители Аляски. Рис. корабельного художника М. Тиханова.



Бой петухов на острове Гуам (Маркизские острова). Рис. М. Тиханова.



Тамеамеа Первый. Король Гавайских островов. Рис. М. Тиханова.



Девушка с Гавайских островов. Рис. М. Тиханова.

чалось даже на якоре, приходя рано утром за приказаниями, находить его спящим в креслах, в полном одеянии».

Великолепная характеристика. Не только человеческих свойств, но и профессиональных качеств, головнинской «науки побеждать» непобедимое море. И она, наука эта, обратила шлюп в школу мореходного искусства.

Не все сделанное мастером непременно сделано мастерски. Но мастеру худо, если он не выучил мастеров. Головнин — пестун четырех адмиралов: Литке и Брангеля, Лутковского и Матюшкина. Первый из них признавался: «В начале похода я не имел никакого понятия о службе; воротился же моряком, но моряком школы Головнина, который в этом, как и во всем, был своеобразен».

«Камчатка» была школой под открытым небом и в открытом океане. Но и учителю приходилось держать нешуточные экзамены в этой гремящей школе. Вот хоть на новый, 1818 год, когда «Камчатка» огибалась мыс Горн. Тот, что не сумел обогнать Василий Михайлович на «Диане».

Правда, «Камчатка» оказалась резвее «Дианы». Вышла из Кронштадта позже, не в июле, а в конце августа, а пришло раньше, в благоприятное время, если только случается оно в тех широтах.

Испытание длилось почти месяц. Сухопутные люди и думать позабыли про рождество и уже сретенье господне праздновали, когда морские люди встретились, наконец, с Великим, или Тихим.

И вскоре — наградой — солнечный рейд, запахи теплой земли, полуобнаженные купальщицы, приглашения к вице-королю сеньору де ла Пецуела, пикники, поездки в горы: Перу, ее столица Лима, порт Кальяо.

Ах, какие любезности расточали русским гостям надменные испанские хозяева! Но русские гости очень хорошо знают, что здешние хозяева почти уж и не хозяева, что надменность испанская сильно полиняла.

Не первый уж год в Южной Америке шла война за независимость колоний от мадридских владык. Испания терпела поражения. Новая Испания, Новая Гренада, Перу, Ла-Плата, все четыре вице-королевства вот-вот должны были обрести независимость. В Мадриде, а равно и в вице-королевских дворцах надеялись на подмогу императора Александра и Священного союза. Ну как же иначе? Ведь там, в Европе, есть могущественные роялисты, и они не бросят в беде испанских роялистов из роялистов. А посему в Кальяо и в Лиме расточают любезности офицерам российского военного корабля.

Однако Василий Михайлович Головнин не принадлежал к тем писателям, у которых недостает желания быть читателями. Он был не только одним из авторов, но и одним из подписчиков «Сына Отечества». А этот популярный журнал под сурдинку держал сторону мятежников: «Сила их возрастает наравне со счастьем!» «Сын Отечества», замечает историк Л. Ю. Слезкин, информировал об Испанской Америке с явной симпатией к патриотам. Вообще журналы и газеты Петербурга и Москвы не скучились на материалы о войне за независимость, большей частью объективные.

Головнину не было нужды менять свою точку зрения на «законные права» колонизаторов. Он был тверд на сей счет. Вспомним пока лишь пометку на давыдовском «Двукратном путешествии»: «Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!» Если так сказано о российских собственниках, отчего же миловать испанских? И, вежливо отвечая на комплименты, Головнин, конечно, не склонился на сторону комплиментчиков.

Но избави бог от натяжек и умолчаний: не все думали так, как Головнин. Матюшкин и Литке были «за», Врангель — «против». (О других не знаю.) Однако ведь дневник Врангеля утрачен? Это так. Да мне вот довелось рыться в обширном собрании его рукописей, листать другой его дневник, тоже почему-то отнесенный к «без вести пропавшим».

Дремучим монархистом был этот отличный моряк, Фердинанд Петрович Врангель. Он видел в Наполеоне укротителя революции и готов был целовать бич укротителя; его возмущало любое освободительное движение, повстанцы южноамериканских колоний рисовались Врангелю «дикими зверями», которые «кидаются за свободой, не понимая ее»<sup>1</sup>.

Кальяо — первая тихоокеанская стоянка «Камчатки». Но не последняя. Великую панораму развернет Великий океан. И Головнину предстанет многое.

4

Можно следить за «Камчаткой», как она бежит свои мили, мили, мили. Да нужно ли? Головнин не стеснялся писать: «...Чрезвычайно скучно: кроме моря и неба, ничего не было видно, и шлюп качало ужасным образом».

<sup>1</sup> Правда, среди документов Ф. П. Врангеля находишь верные заметки о Южной Америке. Он посетил ее вторично, командуя транспортом «Кроткий», и подчеркивал, что бывшие колонии подпали под власть английских и североамериканских предпринимателей. См. Ю. Да вы до в, Фердинанд Врангель. М., 1959.

«Певцы моря» большей частью обитают на берегу. Головину «ахи» чужды. Как и «охи». Он никогда не пугает читателя морскими страстями-мордастями. (Быть может, инстинктивно стесняясь выглядеть эдаким палубным рыцарем без страха и упрека.) Он умеет рассказывать о морском походе:

«Нет плавания успешнее и покойнее, как с пассатными ветрами, но зато нет ничего и скучнее. Единообразие ненавистно человеку; ему нужны перемены; природа его того требует. Всегдашний умеренный ветер, ясная погода и спокойствие моря хотя делают плавание безопасным и приятным, но беспрестанное повторение того же в продолжение многих недель наскучит. Один хороший ясный день после нескольких пасмурных и тихий ветер после бури доставляют во сто крат более удовольствия, нежели несколько дней беспрерывно продолжающейся хорошей погоды».

Пейзажи у Головнина точны. Но это не фотографическая точность. Всегда видна кисть, их рисующая. Ему нужна елка, а не елочные украшения. Маринизм его далек от марлинизма: он не предтеча фразистого Марлинского.

И потом пейзаж у Головнина не сам по себе, не красоты ради. Если он пишет о лунных ночных в океане, то совсем не затем, чтобы нарисовать... Впрочем, читателю известно, как живописуют лунные ночи. Нет, лунные ночи отмечены не зря. Они «работают»: Головин ими воспользовался, чтобы успешнее, быстрее, безопаснее пересечь экватор, где ветры переменчивы и порывисты, где нужна сугубая осторожность, а в светлые ночи «можно несравненно более нести парусов и удобнее с ними управляться».

Географические карты, как и марины, не заменяют вида на океан. Они, однако, обладают волшебством: сокращают расстояния, сжимают, спрессовывают время, необходимое для покрытия этих расстояний. Карты, как и книги, требуют прочтения. Они требуют и некоторых усилий воображения. И тогда оживают. Приглашение к карте — приглашение к заочному путешествию.

Пенистый след за кормою корабля угасает, как прожитый день. Сплошная линия, положенная на карту, остается, как деяние. Секунды довольно — глаз схватит тихоокеанский маршрут шлюпа. А он вобрал в себя огромное пространство и значительное время. Тысячекильное пространство, время двенадцатимесячное.

Из жаркого пояса — в холодный, из холодного — в жаркий: пасмурность камчатских скал и сумеречная рябь Петров-Павловской гавани; прозелень муравы на снегах островов

Беринга и Медного; чистый горизонт, меченный Андриановской грядою, и отчетливость южных граней острова Чирикова; чернолесье Кадьяка и знакомая крепость на Ситхе; селенье Росс, почти неприметное и почти неприступное; радужный берег Калифорнии, на которую «природа излила все дары свои»; благодатные Сандвичевы острова; Гуам, где в полночь и новолуние бушуют «жестокие бури», и, наконец, Манила, «столица всех испанских владений в Азии».

Будь тогда периодика «Земля и море», «Природа и люди», Головнин избрал бы последнюю. Великий океан развернул великую панораму. Василий Головнин созерцал ее, но не остался созерцателем.

Древний философ Анаксимен спрашивал Пифагора: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно перед глазами смерть или рабство?» Смертью иль рабством не увлечешься. Куда приманчивее тайны звезд. А мысль о том, что мы, земляне, «дадим» звездам — не ту же ли смерть, не то же ли рабство? — мысль эта не тревожила человека минувшего столетия. Даже Кибальчича. А Головнина тем паче. Здесь иное: мореходный путь пролег сквозь смерть и рабство.

Во владениях Российско-Американской компании командир «Камчатки» приступил к ревизии. Он повел дело по всей строгости военного дознания: допросил свидетелей, выслушав жалобы, заполнил в присутствии корабельных офицеров документы.

Головнину открылась картина чудовищная. Впервые взглянул он в бездны колонизации. Он увидел шабаш азиатчины, геркулесовы столпы глумления. И все увиденное, все узанное изложил в двух записках. Одна была обширная, с историческим экскурсом, политико-экономическим обзором, но не холодным, а гневно-сатирическим. Вторая, краткая, похожа на рапорт по начальству.

«Без тщеславия могу сказать, что первом моим не водило никакое пристрастие», — писал Головнин. Неверно: первом его водило пристрастие правдолюба, пристрастие гуманиста.

Ему пришлось отказаться от одного весьма распространенного мнения: там, наверху, разберутся. Как многие на Руси, он слишком долго верил в справедливость высших сфер. Он полагал: беззакония и злодейства потому лишь бытуют, что их еще не досягнула карающая десница правительства. Правительство не ведает, не знает, не просыпало. Русский народ не вчера сложил пословицу: до бога высоко, до царя далеко. При всей ее грустной меткости в ней все же тайная мысль:

«Ох-ох, знал бы царь, знал бы батюшка...» Мысль, к сожалению, прочно-живучая!

Головнину, повторяю, пришлось отказаться от надежды на вмешательство высших сфер. Почему? Очень просто — грабительство и беззакония не были тайной: «о злоупотреблениях, компаниою чинимых, упоминается ясно, подробно, сильно и утвердительно в двух российских сочинениях, посвященных государю императору, напечатанных и обнародованных в Российской империи и переведенных на разные европейские языки, а именно в путешествиях вокруг света флота капитанов Крузенштерна и Лисянского».

Ну что ж, кажется, еще Паскаль говорил, что нет ничего дороже чувства долга в человеческом сердце. И Головнин пишет свои записки, повинуясь этому чувству. Он пишет не по обязанности ревизорской, а потому, что не может и не хочет молчать.

Он заглядывает в прошлое колонизации. Чем оно пахнет, пресловутое освоение Алеутских островов? Кровью, кровью, кровью. Колонизаторы «употребляли всегда ужасные жестокости», алеутов «считали едва ли лучше скотов», «часто делали убийства, отнимали жен и дочерей и производили всякого рода неистовства над бедными жителями».

Да полно, уж не неистовствует ли сам Василий Михайлович, не сгущает ли краски, не перебарщивает ли? Увы. Его подкрепил впоследствии сын пономаря Иван Евсеевич Вениаминов, он же митрополит московский и коломенский Иннокентий. Священствуя, Вениаминов почти всю свою долгую жизнь отжил в Русской Америке, на островах и берегах северной части Тихого океана. Митрополиту Иннокентию огромная цифра — пять тысяч истребленных алеутов — и та кажется «слишком умеренной».

Вениаминов назвал имена выдающихся штукарей, имена, проклятые алеутами: Лазарев, Молотилов, Шабаев, Куканов и прочие и прочие. Один из этих душегубов — некий Соловьев — предвосхитил гнусности белокурых бестий: выстраивал алеутов чередой и стрелял — интересовался, виши, скольких пуля «прошьет».

Нет, не сгущал краски Головнин, не перегибал палку, как ни вертись. Был он прав, ударяя кулаком по столу: «Компания истребила почти всех природных жителей!»

Почти всех, но не всех. Что же те, которые выжили? Десяток печатных, книжных страниц занимает головнинский реестр обвинений против чиновников, правителей, конторщиков, приказчиков Российской-Американской компаний. Это настоящий мар-

тиролог, перечень преследований алеутов, страданий и эксплуатации. Напрасно прикидываться, что ничего подобного не было. Из песни слова не выкинешь. А «песня» была протяжная, дикая, подчас бессмысленная...

На северо-западном берегу Северной Америки колонизаторы столкнулись с индейцами племени тлинкит.

Головнину доставляет удовольствие перечислять «природные качества» этого гордого племени. Индейцы, пишет Василий Михайлович, «сильны, терпеливы в трудах и крайне смелы, даже до отчаяния, любят независимость столько, что скорее захотят расстаться с жизнью, нежели с свободою, и покорить их не только трудно, но даже невозможно, ибо они не имеют постоянных жилищ, а скитаются по проливам, с острова на остров и живут в шалашах; лодки свои они строят так хорошо, что никакое европейское гребное судно, кроме китоловных бригов, догнать их не в состоянии, а морские животные, рыба, раковины и ягоды составляют их пищу. Вот каков дух и мужество сих дикарей. Между ними есть особенный класс людей, называемый Кавкантен, или Волчий род, составляющий особенный класс, или, как бы сказать, рыцарский орден, которые славятся особенной храбростью, твердостью, постоянством в несчастьях и искусством действовать оружием».

«Каков дух?» — вопрошают Головнин, не скрывая восхищения. И прибавляет: «И сей-то народ компания считала возможным покорить тягостному своему игу!»

Записки Головнина о состоянии колоний Российско-Американской компании не вошли в его книгу о путешествии на шлюпе «Камчатка». Они были опубликованы гораздо позже: очевидно, обладали слишком сильным грозовым зарядом. А в книге издания 1822 года Головнин утопил свои молнии в пространных описаниях природы, в замечаниях и наблюдениях, интересных мореплавателю. Про ревизию свою рассказал он в двух абзацах, да и то весьма бледных. Об индейцах-колюжах, о племени тлинкит отозвался вовсе не в духе записок: «вероломные»-де, никак, мол, не хотят дружить с Российско-Американской компанией и к тому же, такие-сякие, «не упускают случая убить русского».

Пусть эта книжная тональность остается на совести Головнина. Но скажите на милость, что заставляет современного автора утверждать, например, столь очевидную нелепицу: «Все местные жители индейцы, видя мирные намерения русских на западном берегу Америки, приняли русское подданство? Утверждение для киота, для божницы: «во человечес благоволение». И тут же еще одно категорическое указание, от которого,

право, Головнин во гробе содрогнулся бы: «Русские, как всегда, по-хозяйски осваивали новый край». Ну, словно бы речь идет о строителях Комсомольска-на-Амуре!

Я цитировал статью о том, как «пламенный патриот Головнин» разоблачил американских агрессоров, покушавшихся на Русскую Америку<sup>1</sup>. Автор, понятно, ссыпался на Головнина. Оно и верно. Василий Михайлович не жаловал иностранных хищников: «...Большая часть русских промышленников, погибших от рук диких американцев, умерщвлены порохом и пулями, доставленными к ним просвещенными американцами». Наглость контрабандистов поддерживало правительство Соединенных Штатов. Чужеземные шаромыжники грабили владения Русско-Американской компании, и Головнин советовал петербургским властям предержащим оборонить далекий край.

Все так, все верно. Но наш современник начисто забывает о том, о чем не забывал не наш современник, офицер императорского флота Василий Михайлович Головнин: он не умалил грабительских «заслуг» соотчичей.

Ну, как тут не возвзвать к Плеханову?

В девяностых годах пионер русского марксизма писал «Внутреннее обозрение». В газете «Правительственный вестник» ему попалось сообщение царского консула из Сан-Франциско. Дипломат оплакивал вредное, разворачивающее влияние американцев на экономический быт приморского населения Восточной Сибири. Заголосили и другие газеты: необходимо пресечь американцев, дайте морские промыслы «исключительно в русские руки».

И Плеханов иронизирует: «Недогадливые люди и в этом случае скажут, пожалуй, что местному населению решительно все равно, кто станет обирать и разворачивать его, русские или американцы. Но теперь уж никто не слушает недогадливых людей, и котиковые промыслы у Командорских островов, наверное, будут переданы «исключительно в русские руки», которые займутся там наполнением исключительно русских буржуазных карманов».

Ирония тухнет, Плеханов вполне серьезен: «Когда православно-патриотический вой русской буржуазии направляется против американцев или против какой-нибудь другой народности, не имеющей трудно поправимого несчастья находиться под сенью крыл двуглавого орла, — он более смешон,

<sup>1</sup> В. В. Дремлюг (кафедра гидрологии). Разоблачение русским мореплавателем В. М. Головнином подготовки американской агрессии против Русской Америки в начале XIX века. Ученые записки Высшего арктического морского училища имени адмирала Макарова. Вып. V. Л., 1954.

чем вреден. Но когда предметом буржуазных воплей являются народности, состоящие в русском подданстве, дело принимает другой оборот. Оно ведет к самому бесстыдному, самому гнусному угнетению слабых сильными».

Головнин видел дальние морские горизонты. Дальние горизонты истории он не видел. И не мог в силу объективных причин. Но в силу каких же причин не видит их и представитель кафедры гидрологии?

Конкистадор всегда конкистадор, купец всегда купец. Национальная гордость, испанская или английская, голландская или великороссская, не означает безотчетного отрицания подлостей, совершенных в колониях испанцами или британцами, голландцами или великими. Если были две России, то почему же не было двух Англий или двух Голландий?

Не одарив елеем и медом отечественную купеческую компанию, Головнин обладал нравственным правом осудить колониализм европейских наживал. И он этим правом не пренебрег.

Англичане оседливали главные перекрестки мира. Головнин говорил, что бритты торгуют не то чтобы бесчестно, но прямо-таки безбожно. Однако безбожники были набожны: «Они к евангелию присоединили свой догмат, который всем покоренным ими народам проповедуют; оный состоит в том, что никому врата царства небесного отверсты не будут, кто не станет носить платья из материей английских мануфактур».

Испанцы тоже «присоединили к евангелию свой догмат». Догмат этот служил дряхлеющим колонизаторам руководством к действию. Действия заключались в недопущении действий. Довольно баловаться «просвещенным абсолютизмом», начинания умного и дальновидного Карла III давно были похорены. Никаких перемен, и баста.

В Южной Америке летаргический сон был прерван восстанием. Калифорнию покамест удавалось удержать в спячке. Колокола католических миссий убаюкивали «крещеных индейцев».

Головнин наблюдал калифорнийских индейцев. «За отступление от правил, католическою религию предписываемых, за леность и преступления миссионеры наказывают их по своему произволу телесно или заключением, а чаще заковывают виновных в железо; плодами же полевых трудов своей паства они сами пользуются». (Что бы ему-то, Василию Михайловичу, продолжить свои наблюдения, обернуться бы на родимую сторонушку? Может, в мыслях своих и оглянулся, да на бумаге — ни гугу.)

Предшественники Головнина, знаменитые мореходы Лаперуз

и Ванкувер, калифорнийских индейцев называли «народом крайне слабоумным», не способным ни к какому творчеству. Головнин бастует. Изделия индейцев, их наряды, утварь находит он отменного вкуса; плотницкую и столярную работу вполне приличной, а музыкантов и певчих, не имеющих понятия о нотах, «не хуже многих скрипачей, забавляющих наших областных полубояр».

Несогласие с европейскими знаменитостями Головнин простирает дальше, на сферу нравственную, духовную. Он подчеркивает в индейцах «высокое понятие о справедливости». Доказательства? Извольте: «Прежде они поставляли себе за правило, да и ныне некоторые роды из них сего держатся, убивать только такое число испанцев, какое испанцы из них убьют, ибо сии последние часто посылают солдат хватать индейцев... Солдаты хватают их арканами, свитыми из конских волос... После того соотечественники их ищут случая отомстить, и когда удастся им захватить где испанцев, то, убив из них столько, сколько умерщвлено их товарищей, прочих освобождают. Ныне, однакож, вывели их из терпения, и они никого из них не щадят...»

Марианские острова, как и Калифорния, принадлежали испанской короне. Там опять, в который уж раз, убедился Головнин во всесилье смерти и рабства. «Острова сии, — рассказывает Василий Михайлович, — при занятии их испанцами были многолюдны, но насильтвенное обращение жителей в христианскую веру и покушение истребить коренные их обычай... дали повод язычникам к сопротивлению. От сего произошли войны, в которых многие из жителей погибли».

Пять недель провела «Камчатка» в Манильской бухте. Шлюп готовили к переходу в Кронштадт. Предстояло одолеть два океана — Индийский и Атлантический, готовились к обратному плаванию с великим тщанием.

Манильская бухта плавной дугой вдавалась в берег острова Лусон, самого обширного в Филиппинском архипелаге. Архипелагом владели испанцы. Еще совсем недавно, лет за десять-пятнадцать до прихода Головнина в Манилу, европейские державы относили Филиппины к испанскому захолустью, а то и попросту к географическому понятию. Один русский дипломат (его «епархией» были международные отношения в бассейне Тихого океана) не без основания утверждал, что Англия могла бы заглотнуть Филиппины еще в 1803 году, если бы считала их «достаточно важными». Впрочем, некий дошлый купчик-англичанин взбодрил-таки в Маниле торговый дом, хотя испанские власти, как и японские, чурались чужеземцев.

У его величества Прогресса длинные ноги. Едва было расхлебано кровавое варево, именуемое иногда наполеоновской эпохой, как буржуа Европы и Америки причислили и Филиппины к рынкам «больших возможностей».

В Маниле обосновались французский и американский консулы. За несколько месяцев до прибытия «Камчатки» к ним присоединился г-н Добелл, российский генеральный консул.

Головнин в своем «Путешествии» почему-то не называет его имени. А кажется, должен был бы. Добелл, родом ирландец, немало, как и Василий Михайлович, по странствовал; в те самые годы, когда Головнин занимал страницы «Сына Отечества», Добелл там же печатал очерки о Сибири.

Не упоминая Добелла, капитан «Камчатки», подобно консулу, взглянул на архипелаг с русской колокольни. Василий Михайлович как бы вернулся к давним своим размышлениям. «Филиппинские острова, — писал он, — из коих главный Лусон, на котором находится Манила, во многих отношениях заслуживают внимания европейцев, а более россиян, по соседству их с нашими восточными владениями, где во всем том крайняя бедность, чем Филиппинские острова изобилуют. Положение сих островов в отношении к Сибири, безопасные гавани, здоровый климат, плодородие и богатство земли во всех произведениях, для пищи и торговли служащих, многолюдство и, наконец, сношения их с китайцами — все сие заставляет обратить на них внимание».

Пользуясь нынешними терминами, сказать должно, что флота капитан второго ранга сделал на Филиппинах классовый анализ: он рассмотрел положение разных слоев островного населения.

На вершине общественной пирамиды восседали, разумеется, служители культа. Распрекрасное это дело, быть служителем культа. Надо лишь попугивать дурачков: без нас, служителей, все пойдет прахом. При Карле III, во второй половине XVIII века, испанское черное духовенство несколько утратило свое ведущее (вернее, никуда не ведущее) положение. Но быстро оправилось. В годы плаваний Головнина служители культа верховодили с прежней неукоснительностью.

Итак, писал Василий Михайлович, первый класс «составляет духовенство, которое здесь, как и во всех испанских колониях, весьма многочисленно и имеет главою архиепископа, живущего в Маниле, и несколько епископов, живущих в провинциях. В Маниле считается 5 монастырей мужских и 3 женских».

Головнину не удалось заглянуть за монастырские стены.

Два его ученика — Врангель и Матюшкин — заглянули. Правда, спустя несколько лет, когда транспорт «Кроткий» тоже стоял в Манильской бухте.

Оказывается, филиппинские служители культа, как, впрочем, и всякие иные, отнюдь не предавались аскетизму. Неопубликованный дневник Врангеля воссоздает сценку в духе Боккаччо: «Сквозь густоту леса мелькнул вдруг огонек, лодки пристали к берегу, и добрые монахи помогли нам выйти на сушу и привели в огромный монастырь, где вместо скромных келий вошли мы, чрез освещенную галерею, в залу. Отец Николай, настоятель сего монастыря, монах здесь весьма уважаемый, встретил нас и, при звуках приятной музыки, проводил к чайному столу, где приветствовал нас губернатор и несколько почетных чиновников, приехавших со своими семьями берегом.

Сколько ни удивило нас доселе виденное в обители отшельников — хор музыкантов, собрание дам, но мы поражены были еще неожиданнейшим зрелищем: музыка громче зашумела, заиграла контрданс, и зала сия превратилась в танцевальную. Дамы и молодые кавалеры обнялись и заплясали, вероятно, из усердия к святому Иерониму, коего день намеревались завтра праздновать.

Действительно, в 4 часа другого утра отслужили сему святому молебен в церкви, отделенной от танцевальной залы одною тонкою завесою. Несмотря, однажды, на сию непристойность, провели мы вечер весьма приятно... Прекрасные дамы не уставали от качучу и фанданго, а мы не уставали восхищаться приятными их телодвижениями.

На ночь разместили нас по незанятым кельям, окна коих были в монастырской сад. Рано утром, по звону колокольчика, собрались мы в церковь; после молитвы подали шоколаду, а потом в колясках и на верховых лошадях поехали мы по окрестностям: осмотрели сахарный и индиговый заводы, проехали обширные плантации сарачинского пшена<sup>1</sup>, сахарного тростнику, индигового растения, леса плодоносных дерев, встречая на каждом шагу следы трудолюбия почтенного отца Николая, который все сие устроил, приучил индейцев к работам и обратил их к христианству<sup>2</sup>.

Ах, милейший барон, он остался себе верен. Его несколько смущила фривольность монастырского уклада, но зато искреи-

<sup>1</sup> Сарачинское пшено — рис.

<sup>2</sup> Центральный государственный архив Эстонской ССР. Фонд 2057, опись I, дело 312, листы 128—129 (об).

не восхитили «следы трудолюбия» настоятеля и как тот с августинской братией «приучил» туземцев гнуть хребет на плантациях и угодиях.

Правду молвить, и наблюдения Головнина над участью «пятого класса», последнего и самого многочисленного класса филиппинского феодального общества, были поверхностны, беглы, неубедительны. Да ведь Василий-то Михайлович не отлучался из Манилы, не раскатывал в колясках и не галопировал по дорогам острова.

Но столичный, манильский «свет» Головнина отнюдь не умилил. Следующим классом после духовенства называет он «гражданских и военных чиновников». Великолепные трутни убивают время «в праздности, курении сигарок и карточной игре, за которую садятся даже с самого утра». Засим следуют купцы, плантаторы, винокуры и сахарозаводчики. Эти тоже не делом обременены, а золотым мундирным шитьем: тугой кошелек обеспечивает им полковничьи и майорские чины.

Розничную торговлю держали в Маниле китайцы. «Они, — усмехается Головнин, — не стыдились с нас просить за вещь в пять и шесть раз дороже настоящей цены». Но Василий Михайлович тут же смягчает упрек: китайцы задавлены налогами. И, включаясь в согласный хор самых разных наблюдателей, подчеркивает трудолюбие, искусность китайских ремесленников.

Головнин опять и опять возвращается все к той же теме: об истреблении колонизаторами коренных народов. Мысль эта преследует морееплавателя, не дает ему покоя. Ужели, думал Головнин, даже в безмерном просторе Великого океана нет земли, не попранной европейским насильником?

На Сандвичевы (Гавайские) острова ходил он, чтобы пополнить трюмы свежими припасами. Но те острова манили его особенно. Он хотел своими глазами увидеть, как «несколько тысяч взрослых и даже сединами украшенных детей вступают на ступень человека совершенных лет».

Нарочно допущен мною малокалиберный анахронизм: на Гавайях был Головнин прежде, чем на Филиппинах. Он посетил Сандвичевы острова в октябре 1818 года, а из Манилы пустился «до дому» в январе 1819-го. На сей раз существенной кажется не хронологическая последовательность, а смысловая. Филиппинами завершил Головнин нерадостный обзор колониальных владений в Тихом океане. Гавайский архипелаг лежал особняком — он еще не был покорен. Случай представился уникальный: наблюдать островитян, неподвластных чу-

жому флагу. И командир шлюпа «Камчатка» поспешил воспользоваться этим случаем.

Гавайями правил Тамеамеа Первый. Головину он очень приглянулся. Пожалуй, даже и полюбился. Ни один европеец не удостоился от Головнина столь пылких похвал. Ни крупицы снисходительной иронии к царьку, никаких скидок на «дикаря». Он рассказывает о Тамеамеа сняв шляпу: «необыкновенный человек», «всегда будет считаться просветителем и преобразователем своего народа», «природа одарила его обширным умом и редкою твердостью характера».

Оставалось сравнить Тамеамеа Первого с Петром Первым. Но тут, сдается, рука Головнина дрогнула и ослабела. То ли устрашился он красных чернил цензора, то ли все-таки... все-таки не захотел уподобить темнокожего Тамеамеа белокожему Романову.

А сравнение напрашивалось. Нет, прямо-таки в глаза бросалось: крепость, возведенная по всем правилам фортификации; войска, обученные на европейский лад; устройство артиллерийского парка с умелой прислугой; заведение регулярного флота; приглашение европейцев на службу, но при этом никакого ущерба самостоятельности; интерес к технической новине и т. д. На все это, признается Головнин, не мог он взирать «без удивления и удовольствия».

Вот именно — удовольствия! Ему всегда было радостно убеждаться в том, что «обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем смертным, где бы они ни родились».

Его радует не только энергия Тамеамеа, но и сообразительность, практическая сметка: молодец стариk, понаторел в коммерции, черта с два проведут за нос американцы или англичане. А ежели он сам их порой объегоривал, то что же за беда? — улыбается Василий Михайлович. И объясняет: «Ведь тут дело идет о политике и дипломатических сношениях, а при заключении и нарушении трактатов где же не кривят душою, когда благо отечества, или, лучше сказать, министерский расчет, того требует?»

Не просто умного и удачливого монарха усматривает в Тамеамеа наш путешественник, но и выдающегося представителя народа, который имеет «чрезвычайные способности». Однако фигура семидесятидевятилетнего старца, «бодрого, крепкого и деятельного, воздержанного и трезвого», не застит от Головнина этот самый «чрезвычайных способностей» народ.

Пушкин, отдавая должное Петру, отмечал в нем резкие

черты самовластного помещика. Головнин, восхваляя Тамеамеа, говорит о круtyх поборах: «Деньги король собирает, когда ему захочется»; «Коль скоро королю нужны какие-либо припасы или другие вещи, то объявляется, чтоб со всех округов или некоторых привезли к нему требуемое, так точно, как бы господин дома приказывал своим служителям».

Под пальмами благодатных островов отнюдь не розовела идиллия. Это печалило Головнина. Головнин верил, что все в «руце» Тамеамеа: «...Он мог бы облегчить во многом нынешнее тяжкое состояние простого народа, которого теперь жизнь и собственность находятся в полной воле старшин; а сих последних права и преимущества наследственные». Такие же пожелания, благие и пустые, капитан второго ранга мог бы адресовать государю императору Александру Павловичу.

О будущем гавайцев Головнин не гадал, но отгадка не требовала даже кофейной гущи. Архипелаг лежал на столбовой дороге, представлял сам по себе лакомый кус. Англичане и американцы приглядывались к нему и принюхивались. Не отстала и Российско-Американская компания.

Одно такое покушение лопнуло незадолго до появления «Камчатки» в водах королевства Тамеамеа. И лопнуло пре-конфузно. Историю эту Головнин, конечно, знал, хотя в книге своей изъяснился подозрительно глухо, как бы нехотя. Василий Михайлович вскользь помянул неких европейцев и некоего «неосторожного» доктора. И словно сквозь зубы назвал имя: Шеффер.

Георг Шеффер учился в Геттингене. Потом несколько лет служил полицейским врачом в Москве. В отличие от Владимира Ленского Георг Шеффер привез из Германии туманной не вольнолюбивые мечты, а пылкую жажду авантюр. Он метнулся в моря, плавал судовым врачом у Лазарева на «Суворове», пересорился со всеми и остался в Русской Америке.

Этого-то вздорного эскулапа, не лишенного, впрочем, некоторой наблюдательности, правитель Русской Америки Баранов вскоре отрядил на Гавайи — завести торговую контору и факторию.

В августе 1817 года (за день до отплытия «Камчатки» из Кронштадта) царю доложили об успехах Шеффера на Сандвичевых островах. Царь, не возражая, велел все же «оглядеться», то есть выжидать, наводить справки и прочее. Однако уже в начале 1818 года (когда Головнин мыкался у мыса Горн) министерство иностранных дел сочло действия Шеффера несвоевременными. Правительство умыло не совсем чистые руки,

а ставленник компании, не одолев яростного сопротивления конкурентов-янки, убрался восвояси<sup>1</sup>.

Головнин в этом эпизоде прибег к «фигуре умолчания». Добро бы еще он один, как-никак его мундир обязывал, а может и цензор. Так ведь нет, не один! Комментаторы сочинений Головнина туда же: Шеффер, конечно, бяка, но правительство, но компания, ей-ей, в сторонке. «Престиж» какой России защищаем, граждане? Нам ли, право, нести моральную ответственность за Александра Благословенного или за коллежского советника Баранова?..

Впрочем, и Шеффер и его попытка закрепиться на одном из гавайских островов — все это уже при Головнине считалось инцидентом исчерпанным. Экипаж «Камчатки» пользовался самым радушным приемом народа, который Василий Михайлович определил одним емким и теплым словом — «добрый».

---

<sup>1</sup> Георг Шеффер долго еще носился со своим проектом покорения Гавайских островов. Но его императорское величество отверг домогательства медика, ибо, как выразился министр иностранных дел, мало было надежды «на прочность такового водворения». Разобиженный геттингенец променял Россию на Бразилию, угрелся подле тамошнего трона и воспарил до того, что достиг титула графа Франкентальского.



## Глава шестая

1

Александр Тургенев, друг Жуковского и Вяземского, писал последнему как о событии: «Мы ожидаем Головнина... Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

Письмо мечено 19 августа 1819 года. «Камчатка» в этот день находилась в шести-семи милях от Ютландии. Неподалеку были Каттегат, Балтика. Две недели спустя моряки, «войдя в Финский залив, вступили в пределы отечества».

На берегу ждали Головнина. Головнин ждал берега. Ожиданье «последнего берега» рождает в морской душе и отраду и светлую грусть. Путешествия дают преимущества. Есть высокая гордость финиша. Но есть и некая опустошенность.

На «Камчатке» по-прежнему правят вахты. Но это уже последние вахты. По-прежнему слышится боцманская дудка. Но в ее посвисте что-то переменилось. По-прежнему обедают, ужинают, пьют чай. Но это уже допивают и доедают. Все властно определяется близким, но еще не совершившимся прибытием.

Офицеров ждут родные липы. Да ведь потом опять казарма. И запишет Матюшкин, произведенный в мичманы: «Скучная кронштадтская жизнь, везде барабаны...»

Матросов ждут флотские экипажи, шагистика плац-парада. Кто-то будет новым отцом-командиром? И отцом ли будет? Господи, царица небесная, спаси и помилуй от ирода...

Отходило в прошлое то огромное и важное, что зовется кругосветным походом. Иссякало с каждой милей плавание, которое не всякому выпадает на долю и не каждому дано одолеть.



Зал Адмиралтейства.



Капитан-командор В. М. Головнин.

Литке, Матюшкин, Брангель убрали в чемоданы свои рукописные журналы. Штурманы Никифоров и Козьмин упредали в деревянные футляры карты, терпеливо и любовно сработанные в северных широтах Тихого океана. Аккуратно, витым шнуром увязал папки корабельный живописец Михаил Тиханов.

Ему тяжко, он болен. Нет, не физически, а душевно. Судовой штаб-лекарь Новицкий, глядя на Тиханова, печально качает головой. Что-то будет с Михайлом, крепостным князя Голицына? Четыре года как закончил курс в Академии художеств. Золотую медаль присудили за картину «Расстрел русских патриотов французами в 1812 году». Присудить присудили, но дать-то не дали «за неимением вольности». Вот оно, белое рабство! Черных рабов жалели господа офицеры в Рио-де-Жанейро. И Тиханов жалел, да, верно, не так, как господа офицеры. Белый раб скоро ступит на землю родины. Кто она ему — мать иль мачеха? Капитан Головнин хвалит корабельного живописца. Рисунки будут изданы, имя не канет в Лету. И все же крепостной. Его можно продать с торгов, как продают невольников на улице Волонга. А можно и в карты проиграть или подарить, как дарят борзых... В морях, в океанах создалась иллюзия воли. Теперь прости-прощай даже иллюзия... Медик Новицкий не зря качает головой: скоро наденут на Тиханова грубый больничный халат, уготован ему сумасшедший дом<sup>1</sup>.

Пятого сентября 1819 года «Камчатка» была у Кронштадта. На Большой рейд пришла и положила якорь в шестом часу вечера. Плавание длилось два года и десять дней.

Два года и десять дней не видел Головнин Петербурга. Не кончены хозяйствственные расчеты за экспедицию, не раз придется наезжать в Кронштадт. Но сейчас он думает только о ней. Только о ней. И клянет бердовский пароходик: «Экая черепаха!» Черт побери, какое это, наверное, счастье — спешить к любимой!

Частная жизнь Василия Михайловича, к сожалению, почти не восстановима.

Век эпистолярный, семья большая, родственники да свойственники, а поди ж ты, ни лоскутка интимной переписки я не нашел. (Корреспонденция жены Головнина и двух его дочерей, Марии и Александры, хранящаяся в Пушкинском доме, незначительна и относится ко временам более поздним.)

<sup>1</sup> Тиханов лежал в лечебнице несколько лет. Очевидно, хлопотами Головнина и Адмиралтейства ему определили пенсию. Умер Тиханов в 1862 году, 73 лет от роду. Свои сбережения он завещал Академии художеств.

Но была она, несомненно была, где-то когда-то желтела и блекла в какой-нибудь шкатулке вместе с огрызком сургуча и старой монеткой, в каком-нибудь комоде среди бабушкиных кружев или в коробе на чердаке.

Впрочем, вот рукопись, озаглавленная скромно: «Для немногих» — записки первенца Василия Михайловича, Александра Головнина, известного в свое время либерала, больших «степеней достигшего». «Для немногих» дает немного. Да и то, как говорится, хлеб.

Первенец родился в марте 1821 года. Хилый, хворый, до пяти лет он не ходил и слова не вымолвил, будто немой. Запомнилась ему полутемная узкая детская, флигель на Галерной улице, тоже узкой и длинной, двор запомнился, залитый водою в ноябрьское гибельное наводнение, запомнилось, как отец просиживал ночи у его постели.

Такие ночи страшнее штормовых. Они теснят грудь невыплаканной жалостью, ты бессилен и клянешь все на свете. Англичанин Лейтон, видный в ту пору медик, генерал-штаб-доктор флота, лечил Сашу Головнина. Но Александр Васильевич Головнин, писавший, как и отец, о себе в третьем лице, говорит: «Только нежной заботе родителей он обязан сохранением жизни».

Еще и еще были дети. Нежная заботливость не всем сохранила жизнь. Дважды Василий Михайлович закрыл глаза своим детям: пятилетней Ираиде и Николеньке, которому от роду насчитывались дни. И дважды бросил горсть земли в маленькие могилки там, в Сергиевском монастыре, близ Петербурга...

Петербург после «Камчатки» он почти уж не покидал, разве лишь для редких отлучек в Гулынки или на три дачных месяца у Финского залива.

Так вот, в Петербург он приехал в сентябре 1819 года. За несколько недель до того Александр Тургенев радовался: «Мы ожидаем Головнина, который заезжал в Святую Елену и жил там два дня. Вероятно, ему позволят сказать вслух, что видел, слышал за морями».

«Заезжал». Однако не жажда поглазеть на удивительного пленника, бывшего императора французов, а жажда пресной воды заставила «Камчатку» подходить к атлантическому острову Святой Елены. Наполеон никого не принимал. Головнина принимал граф Бальмен, русский комиссар, такой же тюремщик Наполеона, как генерал сэр Гудсон Лоу, как французский комиссар маркиз Моншени. Бальмен жил в доме, который поначалу занимал Наполеон, в той же гостиной, где граф бесе-

довал с командиром «Камчатки»; Головнин, слушая комиссара, «вообразял, что Наполеон чувствовал, в первый раз вступая в нее!»

Не берусь решать, в каких гостиных Санкт-Петербурга повествовал Василий Михайлович о том, «что видел, слышал за морями». Но известно, что с корабля не на бал попал он, как Чацкий, а в Адмиралтейство. И еще до того, как стал готовить в печать свою книгу, занялся планами важной экспедиции.

Предполагалось отправить исследователей к Ледовитому океану. Один отряд в устье Яны, другой — в устье Колымы: летом обозревать побережья, зимой на нартах искать неведомые острова. Дело намечалось трудное и долгое. От участников требовались именно те качества, что возникают и закаляются в морях: терпение и мужество, сообразительность и выдержка, осмотрительное презрение к опасностям и повседневное презрение к комфорту.

Из «Дневных записей Ф. П. Врангеля» — тетрадь размером нынешней школьной, но грубой, зеленоватой бумаги — узнаешь: в ноябре 1819 года Головнин предложил бывшему подчиненному возглавить колымский отряд, «прибавляя, что он сам будет дирижировать обоими».

«Что могло быть лестнее, — пишет мичман Врангель, — такого предложения молодому офицеру, начинающему только службу свою, и притом от человека, почитаемого всеми необыкновенным по редкому соединению в нем правдивости, рассудительности, обширных познаний и неутомимой деятельности. Выбор его льстил моему честолюбию, и я, не расспрашивая ни о чем обстоятельнее, был оному чрезвычайно рад и, наполня голову мечтаниями, оставил 16-го Петербург, чтобы ехать в Ревель. Я заехал к Ив. Фед. Крузенштерну, который одобрил мой поступок и посоветовал идти на Колыму, на что и я решился о том уведомить Вас. Мих.».

«Предложение молодому офицеру...» Вот это и было определяющим: Головнин не боялся рекомендовать молодых, принимая на себя нравственную и служебную ответственность. Колымский отряд весь вышел из его рук: мичман Матюшкин, штурман Козьмин, матрос Нехорошков. И в унисон с Врангелем восклицает Матюшкин в письме к Энгельгардту: «Не правда ли, Егор Антонович, Головнин прекрасный человек!»

Пока Врангель набирался уму-разуму в «Ливонских Афинах», у дерптских профессоров, пока Матюшкин навещал лицейских (в том числе и Пушкина) да ездил в Москву к ма-

тери, всю эту зиму с девятнадцатого на двадцатый год Василий Михайлович продолжал готовить арктическую экспедицию. Он выхлопотал будущим полярникам двойное жалованье, порционные деньги, и не по питерским или кронштадтским ценам на продовольствие, а по якутским.

В феврале Головнин представил морскому министру Врангеля и Петра Анжу, начальника усть-янской группы. Маркиз Иван Иванович де Траверсе, как насмешничал Врангель, «что-то такое пробормотал, кажется, по секрету, ибо его никто не понимал...» А несколько дней спустя после косноязычной аудиенции руководство экспедицией досталось вице-адмиралу Сарычеву.

Спору нет, Гаврила Андреевич Сарычев обладал всеми данными для успешного «дирижирования» полярным странствием. Севера, настоящего гиперборейского царства, Головнин не нюхивал. Гаврила же Андреевич плавал некогда по Колыме, ходил во льдах Восточно-Сибирского моря, был почетным академиком, географом и гидрографом. Умом Головнин все это понимал, да сердцем-то, думается, не принял. Уязвила Василия Михайловича столь внезапная «отставка».

Еще до отправки экспедиции, на третьей неделе поста уехал он из столицы. Уехал в Рязанской губернии Пронского уезда село Гулынки. Ему нужны были отдохновение, «врачующий простор» родной стороны.

Ученики не забывали наставника. Врангель, например, тревожился в Нижне-Колымске: «Хотел бы только знать, что Вас. Мих. обо мне думает или, по крайней мере, что он о нашей экспедиции говорит. От него ни сроки, и я думаю, что он на меня сердит. Признаюсь тебе, любезный, эта мысль меня немало печалит». (Из неопубликованной переписки Врангеля с Литке.)<sup>1</sup>

Ученики не забыли наставника. Едва «блуждающая судьба» заносила их на берега Невы, они навещали Василия Михайловича. Навещали и во флигеле на Галерной улице, в домашнем кабинете с примыкавшей к нему обширной библиотекой, и в другой квартире — близ Измайловских казарм, — большая зала которой походила на ботанический сад, и у Храповицкого моста на Мойке, и на даче по Петергофской дороге. Словом, и тогда не забыли, когда из подмастерьев сами стали мастерами.

<sup>1</sup> Успех экспедиции Ф. П. Врангеля (1820—1824 гг.), как и успех экспедиции П. Ф. Анжу, был признан географами и полярниками всего мира. Книгу Врангеля, просмотренную в рукописи Головнином, перевели на иностранные языки. В Англии быстро разошелся первый тираж, был выпущен второй.

Итальянский дворец живо возник в памяти. Но не в самом Итальянском дворце: корпус давно уж перевели из Кронштадта в Петербург. Исаакиевским мостом или в ялике пересечешь Неву, выйдешь на Васильевском «острову», и вот он, любуйся — длинный фасад со множеством окон, обращенных к широкой реке.

Минуло почти тридцать, как оставил корпус. А теперь, видашь, вернулся: помощник директора капитан-командор Головнин. Он идет гулкими коридорами, заглядывает в покой, уставленные койками, в классные комнаты, в актовый зал, во внутренний двор, где гауптвахта... Он неприметно усмехается, чувствуя на себе настороженные и любопытствующие взгляды. Ох, эта орава, готовая валять дурака и мечтать об адмиральских «мухах» на эполетах. Бездельники или усердные зубрилки, шустрые и угловатые, умные и туповатые. У отроков разные склонности, у выношней ломается не только голос, но и характер. Под одну гребенку всех не острижешь.

И офицеры не на один салтык. Павел Новосильский, мичман, еще обожжен ветрами Антарктики: на «Мирном» ходил, в дивизии Фаддея Беллинсгаузена. Ревностный пестун этот мичман. И большой любитель географии. И отличный преподаватель астрономии... Ну-с, а Сергей Александрович князь Ширинский-Шихматов, командир роты? Гм! Говорят, голубиная душа. Оно верно, так и есть: мармеладом потчует кадет, а если потчует березовой кашей, то непременно вздохнет: «Ах, друг мой, как грустно...» Или выстроит роту и читает, толкует евангелие. Эдак тихо, внятно. Ох-о-хо, скукота смертная. Сочинял бы свои вирши да пьесы. А то бы в скит, под клобук... Вот математик Кузнецов под стать доброй памяти профессору Никитину, магистру Эдинбургского университета. А инспектор классов капитан-лейтенант Гарковенко — воплощенная пунктуальность. Семь утра бьет, Марк Филиппович тут как тут. На другое утро после венчания, молодую покинув, опять-таки в урочную минуту: «Здравствуйте, господа кадеты!»

Директор наведывается редко, как, бывало, Голенищев-Кутузов. Сенатор, член государственного совета его высокопревосходительство адмирал Карцов не чаще двух раз в году осчастливливает корпус. И тогда взметывается такая тревожная суетливость, какая не замечается даже с приближением высочайших особ.

Поначалу усмешливо-снисходительный помощник директора

день ото дня мрачнел: со временем его ученья нравы ничуть не усовершенствовались, по-прежнему царили «дикий произвол учителей» и «одичалость воспитанников». Большая часть офицеров либо развратничала, либо запойно пьянствовала, либо успешно совмещала и то и другое. Угрястые «двадцатилетние болваны» (понимай: гардемариньи) жили в одних покоях, столовались за одним столом с желторотыми кадетиками. Кадетики, «заблаговременно наслушавшись о трактирах, биллиардах, б.....х, пунше и т. п., приготовлялись блеснуть на том же поприще».

Математик Павел Иванович Кузнецов нарисовал еще более выразительную картину, мысленно проследив дальнейший «добролестный» путь выпускников корпуса: «...Весь этот хаос умудрился сколотиться в какую-то плотную, патриархальную общину с своеобразными нравами, обычаями и преданиями, и машина работала безостановочно, выбрасывая ежегодно известное число офицеров в Кронштадт и Севастополь, где среди карт и попоек, чисто по-эпикурейски, доигрывался последний акт чудовищной драмы».

«Гнусное состояние» корпуса сильно и болезненно поразило Василия Михайловича. Но пробыл он в корпусе недолго. Очевидно, адмирала Карцова не устраивала помохь столь беспокойного помощника. Однако Головнин не унялся. Да и какой же подлинный заботник родного флота смирился бы с подобной «кузницей кадров»? Василий Михайлович никогда и ничего не «разносил» ради удовольствия. В обстоятельной статье «О морском кадетском корпусе» он изложил свои взгляды на обучение будущих моряков. Впоследствии Крузенштерн, сделавшись директором, многое заимствовал у своего товарища.

Хлопота в корпусе, Головнин еще и литераторствовал. Выправил корректуры увесистого фолианта о путешествии шлюпа «Камчатка» (отрывки регулярно печатал все тот же «Сын Отечества»); составил «Записки» о положении колоний Российско-Американской компании, сопроводив их таблицами и приложениями; критически разобрал донесение комитета американскому конгрессу: комитет этот докладывал вашингтонским государственным мужам, что Соединенные Штаты «вправе» завладеть северо-западным берегом континента... И как встарь, увлекался лингвистикой: решил составить учебник испанского языка. Такого в России не было; брошюру Лангене «Краткая испанская грамматика» Головнин отверг.

Многим нынешним кадетам, размышляя Головнин, выпадет счастье дальних вояжей. В морях надо читать звездную

книгу, на суще — говорить на разных диалектах. «К несчастью, — писал Василий Михайлович, — по неизъяснимой странности, дворяне наши, определившие себя жить в России, знают разные языки и не иначе хотят друг с другом говорить, как по-французски, а из служащих во флоте весьма мало таких, которые знали бы один или два языка, хотя им часто случается быть за границей, где как по делам службы, так и для собственного удовольствия должны они обращаться с иностранцами. Если бы кадеты морского корпуса понимали, как стыдно и больно офицеру, находящемуся в чужих краях, не знать никакого иностранного языка, то употребляли бы всевозможные старания на изучение оных».

Но корректуры, лингвистика, выписки из прочитанного не были главными его занятиями. Он думал «о тех, кто в море». В кабинетной тиши, словно приложив к уху раковину, слышал он шум моря. И, подняв глаза от contadorki или бюро, видел море. Нет, не мирное, как волнующаяся под ветром степь, не поэтически опаловое, а дьявольское, свирепое, чудовищное... Нужна была энциклопедия морских несчастий. Не чтиво, а справочник.

Головнин принялся за перевод компилятивного труда Адама Дункана, того самого, который командовал флотом Северного моря и которого когда-то хорошо знал флаг-офицер русской эскадры лейтенант Головнин.

Василий Михайлович однажды заметил: «Признаюсь чистосердечно, что хотя и люблю страстно все отечественные произведения, но не могу презирать и иностранные, достойные похвалы и подражания». Здесь нарочитая неточность: не все отечественные любил он. (В книге купца Шелихова резало ему ухо то же, что Пушкину в радищевском «Путешествии»: варварский слог.) И другое: он работал над произведением иностранным, достойным похвалы; однако излагал Дункан то, чему отнюдь не следовало подражать. Напротив, всячески опасаться и избегать. Сочинение называлось: «Описание примечательных кораблекрушений».

Если бы морская типография в Петербурге напечатала лишь три полутома, вышедшие из-под пера британца, переводчик не подвергся бы никаким нареканиям: чужие беды, чужие несчастья не задевают «патриотов», а шевелят в них что-то похожее на низкое злорадство.

Но, как встарь Курганов, Василий Михайлович не ограничился переводом. Кропотливый исследователь — теперь уже не географ, а историк, — он прибавил часть четвертую: «Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные

времена претерпенных российскими мореплавателями». Василий Михайлович не просто пересказывал разные происшествия со страшным эпилогом, а давал разбор причин аварий и указывал, как следовало бы действовать офицеру в подобных обстоятельствах.

И вот тут-то началось. Ого, как возопили мундирные люди, виновники различных крушений. Теперь они были в больших чинах и не хотели, не желали, чтобы им кололи глаза прошлым. Как они вознегодовали, как брызнули слюной! Еще бы: Головнин осмелился вынести сор из избы. Как же так, господа? Да у нас в России все распрекрасно. А ежели когда и попутал бес, то зачем же тащить напоказ? А что ж в европах-то скажут, ась? Разве ж так поступают благонамеренные сыны отчизны?

Один из флагманов даже учинил над Головнином расправу по всем правилам российского помещичьего самодурства. Этот мрачный юморист пригласил на парадный обед адмиралов и высших офицеров. Когда гости уселись, хозяин объявил: «Прежде всего, господа, прошу вас быть свидетелями приготовленной мною торжественной церемонии». Он хлопнул в ладоши, и два денщика внесли в столовую... маленький гроб. Хозяин снял со стены портрет Головнина, положил во гроб, накрыл крышкой. И возгласил: «По сие время были мы друзья, но отныне он в моем сердце навсегда умер». Собравшиеся рукоплескали и пили за здоровье хозяина дома.

Головнин пожимал плечами. Сделал доброе дело, полезное пособие получат все, кто вправду тянет корабельную лямку. А тут... Черт знает что!

Римский император Август, настрадавшись от шторма, жестоко рассердился на Нептуна и приказал убрать его статую. Об этом писал Монтень в своих «Опытах», в главе «О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы». Головнин не был воображаемым предметом, но распалившиеся чины с удовольствием «вынесли» бы его вон.

Он огорчался. Вот тебе, бабушка, и юрьев день. И оправдывался такими очевидностями: «Всякое сочинение потеряет все свое достоинство, если будет наполнено одними похвалами и если в нем будут скрыты недостатки».

Обращался Василий Михайлович и к адмиралу Шишкову, первому члену государственного адмиралтейского департамента. Письма получились предерзостные. Сперва, будто разговаряясь, Головнин выразил недоумение по поводу столь жаркой реакции «некоторых из господ морских генералов и старших капитанов». Потом подчеркнул: уж коли кто захочет прини-

Приятель мой раз-  
сказывал мнъ, что ему случилось когда-то съ однимъ изъ  
своихъ знакомыхъ идти по Фонтанке, знакомый, между  
разговорами спросилъ его, умеетъ ли онъ при первой встречѣ  
отличить честныхъ женщинъ отъ распутныхъ; тотъ ему  
отвѣтъ: «Нетъ!» а я умѣю, сказалъ онъ. Между тѣмъ посо-  
ши они къ плоту, на которомъ прачки мыли белье, тогда  
знакомый моего приятеля сказалъ имъ: «Богъ помошь вамъ всемъ: честнымъ женщинамъ и б.....мъ!» Тутъ некоторые изъ нихъ, поклонясь, отвѣчали: «Спасибо, добрый человекъ», а другие вскричали:  
«За что банишься, песъ!»

мать критику на свой счет, пусть, мол, и принимает. И наконец, извинившись проформы ради, сделал выразительную иллюстрацию к пословице «на воре и шапка горит».

«Приятель мой рассказывал, что ему случилось когда-то с одним из своих знакомых идти по Фонтанке. Знакомый между разговором спросил его, умеет ли он при первой встрече отличить честных женщин от распутных. Тот ему отвечал: «Нет!» — «А я умею», — сказал он. Между тем подошли они к плоту, на котором прачки мыли белье, тогда знакомый моего приятеля сказал им: «Бог помощь вам всем: честным женщинам и б.....м!» Тут некоторые из них, поклонясь, отвѣчали: «Спасибо, добрый человек», а другие вскричали: «За что банишься, пес!»

Угрюмый Шишков, иссохший над святцами и славянизмами, а равно и над зеленым карточным столом, откликнулся тотчас: он нашел, что Головнин позволил себе «много сатирического на счет флотских чинов», что «подобные сатиры не научают, а только оскорбляют» и что «таковые вещи не должныствовали бы печататься».

Шишков не ограничился письменным выговором. «Пес» бранился и в Российской академии, президентом коей состоял уже десять лет. Российская академия (не смешивать с Академией наук), занимаясь вопросами русской словесности, «выспалась» присудить автору записок о Японии золотую медаль. Но теперь и речи о ней не было. Медаль Головнину не дали.

Долгие годы «Описание кораблекрушений» привлекало моряков. Впрочем, не только моряков. «Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря

на то, что читал уже не совсем новое», — много-много лет спустя скажет автор «Фрегата «Паллада» и «Обломова». Гончаров имел в виду «Описание кораблекрушений»<sup>1</sup>.

Головнин не давал себе роздыха. Он занялся оригинальными трактатами: «Тактика военных флотов», «Искусство описывать приморские берега и моря»... Оба остались недоношенными — Василия Михайловича перевели на другую должность, которая и поглотила без остатка все его время.

### 3

«Крадут»... Так отвечал весьма умеренный Карамзин на вопрос: что делается в России? И это «крадут» звучало почти как «караул».

«Крадут» — мог бы резюмировать свои впечатления и новый генерал-интендант российского флота. С апреля 1823 года им сделался Василий Михайлович Головнин.

Доволен ли он был своим назначением? Если высшие сановники всегда не терпели малейших упоминаний о внутренних непорядках (столь закономерных, что обратились в порядки), то они же всегда неохотно назначали на должности тех, кому эти должности подходили по умственным склонностям.

Вот, например, Жуковского, хмуро острил Вяземский, ни за что не поставили бы попечителем учебного округа, а коли б мирный Василий Андреевич настаивал, интриговал, то, смотришь, сделали бы бригадным. «Особенно в военное время», — приперчиваёт Вяземский.

С Головнином, думается, поступили почти в эдаком роде. Конечно, испытанный водитель военных кораблей знал флотское хозяйство, флотские нужды куда основательнее берегового «крапивного семени». Капитан-командора трудненько было провести на мякине. И все же флот выгадал бы больше, оставайся Головнин на палубах, веди он эскадру в практическое плавание.

<sup>1</sup> В первом издании Василий Михайлович поместил и очерк будущего декабриста, моряка Николая Бестужева «Крушение российского военного брига «Фальк». Головнин сопроводил очерк дружеским примечанием: «Н. Бестужев с успехом занимается словесностью: просвещенные читатели его знают по весьма приятному сочинению «Записки о Голландии»; а ныне по повелению государственного адмиралтейского департамента занимается сочинением Российской морской истории».

Во втором издании имя декабриста было вычеркнуто, хотя со временем «происшествия» на Сенатской площади минуло двадцать восемь лет.

Но «по долгу присяги»... Да уж больно «отчетливо» понимал свой долг этот упрямец. Никак не хотел взять в голк, что существуют неизреченные канцелярские правила, что сухая ложка рот дерет, что служащий во храме от храма и кормится.

Чем глубже погружался Головнин в чернильный омут всяческих делопроизводств, тем яснее сознавал простую вековечную истину: глагол «брать» никаких пояснений не требует. Так же, как глагол «пить» отнюдь не означает утолять жажду брусличной водой.

Чем дольше общался Головнин с адмиралтейской чиновничьей братией, тем сокрушительнее сознавал и другую истину — в формулярных списках, в графе: «Достоин и способен», чаще всего следует выставлять: «Достоин омерзения. Способен к любой подлости».

Усталый той нервной усталью, которую нелегко избыть, раздраженный, с ощущением собственной беспомощности, Василий Михайлович возвращался домой. Но и дома не покидала его тяжкая дума.

Он пытался рассеиваться сатирой. Писал: «О злоупотреблениях в Морском ведомстве существующих». Классифицировал: «Оные суть трех родов: 1) злоупотребления необходимые; 2) злоупотребления неизбежные; 3) злоупотребления тонкие, то есть обдуманные и в систему приведенные». И еще собирая он «перлы», курьезные «Примеры важности занятий государственной коллегии!!!»

Примеры были хоть куда: «дело о лопате» стоимостью в полтинник извело бумаги и сургуча на полтора рубля. Или: «Адмиралтейств Коллегия по выслушании рапорта о приеме на щет казны молста и крюка, стоящих 40 копеек, приказали: дать знать Исполнительной Экспедиции, что на испрашивания ею сим рапортом принятию на щет казны показанных молота и крюка, опущенных по нечаянности в воду, стоящих 40 копеек, Коллегия согласна».

Смешного много. Мало веселого. Головнин задумывался. В конце концов почему он мечет громы и молнии на мелкую сошку, на весь этот люд с протертymi локтями? Что с них спрашивать? Как спрашивать? «Полунагие и голодные содер- жатели казенных вещей видят, что наибольшие над ними, имеющие достаточное содержание, огромные аренды, великолепные от казны помещения, сами себя рекомендующие к наградам, пользуются незаконно казенными экипажами, лошадьми, людьми, которых употребляют к возделыванию садов и огородов, платя им от казны хотя не деньгами, но прови-

зиею, нанимают для детей учителей на жалование, чиновниками по особым поручениям положенное, и проч. и проч.».

Изнемогая, он отпирал ящик со списками запрещенных стихов.

Где ты, где ты, гроза царей,  
Свободы гордая левица?  
Приди, сорви с меня венок,  
Разбей изнеженную лиру —  
Хочу воспеть свободу миру,  
На тронах поразить порок.

Словно бы лучом проникаешь в душу человека, давно сошедшего «под вечны своды», когда в бумагах его находишь эти пушкинские стихи.

Вот он сидит где-то там, у себя, в креслах, в сумеречной комнате; тишина, разве слуга брякнет печной дверцей или служанка зазвенит посудой. Он сидит, немолодой уже офицер, усталый, насупленный, сидит, читает:

Питомцы ветреной судьбы  
Тираны мира! Трепещите!  
А вы мужайтесь и внемлите,  
Восстаньте, падшие рабы!

И глаза его вдруг светлеют. Не потому лишь, что легок, прозрачен, музыкален стих<sup>1</sup>. Нет, должно быть, от одной мысли: есть порох в пороховницах.

Порох в пороховницах был.

Освободители Европы освободились от шор. Они очутились на другой исторической высоте. Оттуда виделось дальше и шире. Война, по мнению строгих дисциплинистов, «разбалтывает» войска. Война, по мнению строгих государственников, «разбалтывает» души. Во время войны с этим мирятся и дисциплинисты и государственники. После войны они переходят в наступление. «Надо выбить дурь из головы этих молодчиков», — требуют аракчеевы. Со своей «кочки зрения» они не ошибаются: увидев Европу, россиянин почему-то не хочет вновь лезть на печку или огрузить в отечественном навозе. Россиянин начинает сравнивать и рассуждать.

Александр Первый дал заговору созреть. Тем самым Александр Первый дал хороший урок будущим тиранам. Смысл урока был прост: глядите в оба за победителями в освободительных войнах: они побеждены духом освобождения. И будущие тираны зарубили это себе на носу. Шишковы пособили

<sup>1</sup> В архиве Головнина сохранились списки стихов Пушкина: «Вольность», «Моя родословная», «Послание к цензору» и др.

им, ратуя за все исконно русское; под исконным разумелась косность. Если б шишковы могли, они отменили бы любые перемены. Даже погоды.

В первый «береговой» год Головнина, в 1820 году, Петербург вззволновали измайловская и семеновская истории. Великий князь Николай Паэлович оскорбил офицера-измайловца; его товарищи в знак протеста подали рапорты об отставке — пятьдесят два рапорта. Полковник Шварц замордовал Семеновский полк; солдаты-семеновцы взбунтовались.

Свободолюбие весенним сквозняком пронизывало армию. «Береговые годы» Головнина начались под знаком все возрастающей революционности передового офицерства. И все возрастающей реакционности высшего командования.

«Подтягивание» и «фрунт», «шагистика» и «чистота ружейных артикулов» унижали не трудностью исполнения. И даже не голой бессмысленностью. Унижала и возмущала осмысленность обессмысливания.

Арачкеевский барабан терзал армейцев. Но в еще большей мере, пожалуй, флотских. Армия и прежде удостаивалась прусской, фридриховой школы. Флот ее не знал и знать не желал. Палуба никак не могла обратиться в манеж; матросы не могли «налево кругом» ставить и убирать паруса. Глаз спытного морского офицера ласкала не «грудь колесом», а проворство, сметливость, неутомимость.

Военная молодежь знала Головнина. Не только по книгам, но и очно. И Головнин знал молодых офицеров. Не только служебно, но и по-домашнему.

Феопемт Лутковский жил у Василия Михайловича. Шурин после «Камчатки» вторично обогнул земной шар на «Аполлоне», потом его определили «для особых поручений» к генерал-интенданту флота. Феопемт коротко сдружился с Дмитрием Завалишиным; тот осенью 1824 года вернулся из дальних странствий, был полон замыслов, Головнину весьма интересных. Дружил Феопемт и с офицерами Гвардейского флотского экипажа, с теми, кто 14 декабря вывел на Сенатскую площадь более тысячи моряков-повстанцев. Ко всем этим людям тоже можно отнести пушкинское «витийством резким знамениты, сбирались члены сей семьи». Собирались они и у Феопемта, не таясь хозяина квартиры.

Интендантские обязанности часто приводили Головнина в Кронштадт. Все там, как выражается современник, были знакомы «вдоль и поперек», сохраняли даже в больших чинах старинные, корпусные прозвища (Макака, Корова, Рыбка, Бодяга), живали артельно, все почти люди малого достатка.

Кронштадтская публика не герпела фрунтовые занятия, «обучая» матросов маршировке с вытянутыми носками и прямыми коленами, командовала: «По-прошлогоднему от кухни заходи!» Или: «Валай, братцы, по-чверашнему!»

Столичное Тайное общество не представляло тайны для кронштадтцев. Агитационные песни Рылеева негромко распевали не только в кают-компаниях, но и в матросских углах.

Из прежних подчиненных Василия Михайловича служил в Кронштадте лейтенант Матюшкин (он, Врангель и Козьмин уже завершили полярную, колымскую экспедицию); Федор Федорович не порывал связей с «лицейской республикой», виделся с Вильгельмом Кюхельбекером. Очень вероятно, что именно Матюшкин ссужал Головнина запрещенными стихами Пушкина.

Нередко посещал Головнин дом у Синего моста, на набережной Мойки — дом Российско-Американской компании. Весною 1825 года Василий Михайлович связался с компанией, что называется, организационно: Головнина избрали членом Совета акционеров.

Кондратий Рылеев служащий компании, жилец первого этажа дома на Мойке, так писал своему приятелю, тоже участнику Тайного общества: «Засим предложено было о избрании члена Совета, и все единогласно избрали В. М. Головнина. Этому выбору я очень рад. Знаю, что он упрям, любит умничать; зато он стоек перед правительством, а в теперешнем положении компании это нужно. Говорят, что он за что-то меня не жалует; да я не слишком этим занимаюсь: так, хорошо; не так, так мать твою так — я и без компании моло-дец; лишь бы она цвела».

Характеристика не восторженная. Тем ценнее зерно рылеевского отзыва: Головнин не гнет выю, Головнин «стоек»...

Прослеживается цепочка знакомств, очерчивается вполне определенный круг. Круг отнюдь не верных подданных. Степень личной близости Головнина к тем или иным декабристам была различной, как это и вообще бывает в отношениях между людьми. Идейная же близость Головнина к декабризму вне сомнений. Но есть и некоторые доказательства его практического участия в планах Тайного общества.

Дмитрия Завалишина, моряка, путешественника, ученого, принял в общество Кондратий Рылеев. Завалишин прямо указывает на сходство своих взглядов с настроениями и взглядами Василия Михайловича. Больше того, Завалишин утверждает, что Головнин был «членом Тайного общества, готовым

на самые решительные меры». Какие же? Завалишин поясняет: «Головнин предлагал пожертвовать собой, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-либо корабля».

Завалишин, вспоминая об этом, ссыпался на декабриста Лунина. О Лунине у Пушкина сказано: «Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры». Рисуя лунинский профиль, поэт тотчас пририсовывает кинжал, символ цареубийства.

Многие арестованные декабристы дали в Зимнем и Петровавловке слишком откровенные и слишком пространные показания. Лунин, напротив, держался крайне осторожно идержанно. Кто знает, не был ли Головнин спасен благородным и мужественным подполковником лейб-гвардии Гродненского гусарского полка?

И все же трудно отделаться от подозрения, что Завалишин преувеличил терроризм Головнина. Если Василий Михайлович и склонялся к насилию, то скорее придерживался не цареубийства (да еще такого, при котором погиб бы экипаж корабля, не говоря уж о нем самом), а скорее подумывал о вывозе царской фамилии за границу. Мысль эта носилась среди моряков декабристского толка...

Годовой период — конец восемьсот двадцать четвертого, конец восемьсот двадцать пятого — один из напряженнейших в жизни Головнина. Напряженность определилась грозным ноябрьским наводнением. Петербург и Кронштадт пострадали ужасно. (Примечательно: ни одна газета не сообщила о том, чему свидетелем и очевидцем явилось многотысячное население! Что за глупейшая манера умалчивать даже о тех бедствиях, в которых повинен лишь господь бог?) Стихия загубила десятки жизней, разрушила десятки домов, разорила сотни семей. Флотскому хозяйству нанесен был урон, какой не снился неприятельским эскадрам. В Кронштадте смыло укрепления гавани, унесло сорок семь пушек, выбросило на мели корабли. Всяческие припасы, биржи строевого леса, баркасы, яхты, шлюпки раскидало чуть не на сто верст по берегам.

Большую часть Петербурга затопило. «И всплыл Петрополь как Тритон по пояс в воду погружен...» Адмиралтейство, казармы в Галерной гавани, верфи, Морской корпус — ко всему приложилось «наглое буйство» Невы и ураганного ветра.

И все требовало неустанных забот генерал-интенданта флота. Забот хватило не на месяц — на несколько лет. И наверное, было о чем посоветоваться со старинным другом: в канун

нового, двадцать пятого года Василий Михайлович потчевал праздничным домашним обедом Петра Ивановича Рикорда. Впрочем, не только о бедствиях стихийных шла речь. Речь шла о таких бедствиях, которые губили флот и моряков вполне обдуманно, со злобной целеустремленностью.

Как раз 31 декабря 1824 года Головнин написал коротенькое предисловие к сочинению некоего мичмана Мореходова. «Необыкновенное и странное положение, до коего ныне доведена Россия, — говорил Головнин, — и всеобщий ропот во всех состояниях, по целому государству распространившийся, произвели между прочими политическими мнениями разные суждения и толки насчет морских наших сил». Далее Василий Михайлович предупреждает, что мичманское звание не благоприятствует авторству: мичман-де, по мнению публики, всего лишь «молодой неуч». Однако читатель возьмет сочинение не безусого офицера, но морского человека, прожившего почти полвека и совершившего несколько походов.

За мичманом Мореходовым... стоял Головнин. Официальный пост понуждал к псевдониму. «Описанием кораблекрушений» он нажил себе врагов. А «Записки мичмана Мореходова» грозили ему куда больше. Они были гневными, сатирическими, исполненными неподдельного патриотизма. Нигде так ясно и четко не высказался Головнин-критик, как в очерке «О нынешнем состоянии русского флота». Страшно молвить: даже священную августейшую особу не пощадил.

Он сразу берет быка за рога: «Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной корысти, довести разными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он ныне находится».

Круто положен руль! Лобовое обвинение государственных мужей в государственной измене. Зорким, наметанным оком окидывает Головнин организм, именуемый флотом. Твердой рукой рисует картину адмиралтейской бестолковщины, сколок бестолковщины всероссийской. Бестрепетно, как скальпелем, вскрывает секретнейшие «ходы» подрядчиков, поставщиков дряни и гнили. Изобличает флотские «потемкинские деревни»: на пути следования государя из Петербурга в Кронштадт расставлены корабли с одним лишь выкрашенным бортом. Обнажает механику закулисных сделок по принципу «ты — мне, я — тебе», систему родственного патронажа, засилье ни

к чему не годных иностранцев; мичман Мореходов предвосхищает маркиза Кюстина, который говорил, что Европа сбывает России лишь тех, кто ей самой не нужен.

И что же? Каков результат?

Флотовожди, выжившие из ума развалины, обратили Кронштадт в «морскую богадельню». И добро бы прели в халатах, посасывая трубки. Так нет ведь: молодых не пускают, не сбъедешь, не перепрыгнешь. «Теперь в русской морской службе нет ни одного адмирала, сколько-нибудь годного командовать флотом». Адмиралы под стать генералам. «Не могу вспомнить без досады и огорчения случившееся со мною однажды на вахтпразде. Близ меня стояли два англичанина, из коих один недавно приехал в Россию, а другой — купец, долго живший в Петербурге и мне весьма коротко знакомый человек. Когда мимо меня шел кавалергардский взвод, то новоприезжий спросил: «Что это за люди в зеленых мундирах, которые маршируют со взводом?» И, услышав, что это были генералы, вдруг сказал с удивлением: «Как! Четыре генерала выступают такими гусями с дюжиною солдат?» На сие товарищ его заметил, что в России генералы очень дешевы, и не хочет ли он отвезти их целый корабельный груз из барыша в Англию. На что он отвечал: «Нет, это самый плохой товар в России, с которым, наверно, будешь в накладе. Вот если б солдат привезти, то была бы прибыль!»

Добро. Начальство, конечно, «фактор». Но есть же боевые корабли? О да, конечно. И Головнин гвоздит: корабли подобны распутным девкам. «Как сии последние набелены, нарумянены, наряжены и украшены снаружи, но, согнивая внутри от греха и болезней, испускают зловонное дыхание, так и корабли наши, поставленные в строй и обманчиво снаружи выкрашенные, внутри повсюду вмещают лужи дождевой воды, груды грязи, толстые слои плесени и заразительный воздух, весь трюм их наполняющий».

Одного за другим представил капитан-командор морских министров России. (По обыкновению, России не везло с министрами.) Вот они, высокопревосходительства: Кушелев — скучный умом; Чичагов — подражатель англичанам, «самого себя считал ко всему способным, а других ни к чему»<sup>1</sup>; Траверсе — далеко не дурак, однако лукавый царедворец, оза-

<sup>1</sup> Головнин в оценке Чичагова слишком категоричен. Павел Васильевич, наверное, и впрямь не был образцовым министром, если таковые и случаются. Однако нравственно он не чета прочим. Чичагов, например, не потерпел нареканий даже от бесноватого Павла и угодил в крепость. Человек независимых суждений, он открыто презирал дворцовую сволочь. Герцен весьма уважительно отзывался о П. В. Чичагове.

боченный лишь желанием ублажить государя парадностью; на-конец, Моллер — воплощенное ничтожество, вор и покровитель воров. Лишь одного Мордвинова пощадил Головнин, но тут же оговорился, что просвещеннейший Николай Семенович манкировал своими обязанностями, занимался всем, да только не флотом. (Мемуаристка, дочь Мордвинова, объясняет это интригами врагов.)

Последний раздел памфлета мичман Мореходов отдал страстной защите самой идеи необходимости русского флота. Не ломился ли он в открытые ворота? Защищать идею флота после Петра, после стольких государственных услуг, оказанных флотом, после защиты Петербурга от шведов? Нет, идея нуждалась в обороне. Не однажды слышались голоса о напраслине содержания морских сил. Голоса звучные, сановные, уверенные, хорошо поставленные. Флот необходим, доказывал Василий Михайлович, но флот подлинный, боеспособный, обученный, снаряженный. А если сам император этого не понимает... Если так, то приходится согласиться, что «не на всех тронах сидят Соломоны».

Доведись Александру Павловичу прочитать «Записки мичмана Мореходова», царь мог бы сказать то же, что скажет впоследствии его младший братец, император Николай Павлович, посмотрев «Ревизора»: «Всем досталось, а больше всех мне».

Однако ни Александр, ни его преемник не прочли записок... Беда иной литературы, язвил Вяземский, состоит в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие не мыслят. Не худо добавить: беда состоит еще и в том, что, когда мыслящие люди пишут, их не печатают. Рукопись Василия Михайловича попала в типографию десятилетия спустя. Случай в истории нашей словесности, увы, не единичный.

Его взгляды и требования, боль и мука были тождественны декабристским. Моряки-декабристы из крепости указывали на те же язвы, на которые указывал Головнин в домашнем своем одиночестве. За четверть с лишним века они, в сущности, предрекли севастопольский погром.

Но желание делать хорошую мину при плохой игре — смертный грех официальной России. Годы и годы минули после Севастополя, после Крымской войны, народился флот паровой и броненосный. Однако бюрократия и косность, лихомство и небрежение существовали, как и во времена Головнина. И опять были трезвые люди, предсказывающие Цусиму. Но с физиономии официальной России по-прежнему не сходила «хорошая» мина.

Как жить? Чем и зачем жить?..

Не сразу все это поднялось в рост. Сперва был страх. Унизительный и беспощадный. Ни с чем не сравнимое, особое свойство у особого страха, который мнет душу перед арестом. Такого не испытала ни в бою, ни в штурмовую ночь, на краю гибели.

Если верить Завалишину, Василию Михайловичу, конечно, следовало ждать фельдъегерскую тройку. Если не верить Завалишину, то все ж таки следовало ждать: могли подозревать, могли донести. Подозревать было в чем, доносить было о чем.

Ожидание ареста хуже ареста. Военная храбрость не однозначна с гражданской, как смерть на миру со смертью в каземате... И фельдъегерь явился. Не за капитан-командором, а за лейтенантом Феопемтом Лутковским. Должно быть, в ту минуту капитан-командор ощутил мгновенную постыдную радость и постыдное облегчение. Но следом накрыла его, как вал, набежавший с кормы, тяжкая печаль: Феопемта он любил... Потом он узнал, что его родственника, его офицера для поручений всего-навсего отослали на Черное море<sup>1</sup>.

Сверстники и товарищи Феопемта, добрые знакомцы Василия Михайловича, сидели в крепости. По выражению Бенкендорфа, процесс над декабристами вели с «возможной степенью законности и гласности». Восхитительное, почти речьбе бесстыдство: «возможная степень», и шабаш.

А газетное освещение следствия? Бог мой, какое холопье, какое рабье подсударивание. Помнится, судили в Англии полковника Деспарда и его компаний-простолюдинов. Английские журналисты не тратили милю на заговорщиков, но и не изоцялись в ругательствах. Уж лучше читать в «Русском инвалиде» официальные сообщения. По крайности знаешь, что тут уж порядочности ждать нечего. Да, «Русский инвалид»... В этой же газете в 1822 году печаталась его, Головнина, биография. Какие-то незапамятные времена... Допотопные. Не давешнее осеннее наводнение топило все сущее — нынешнее: «Божию милостию Мы, Николай Первый,

<sup>1</sup> Черноморские ветры вскоре выветрили из Лутковского либеральный дух. Он «образумился». В архиве, в фонде Мраморного дворца, я читал его подхалимские письма руководителю флота светлейшему князю Меншикову, которого презирали все передовые, честные моряки, в том числе и приятель Лутковского Ф. Ф. Матюшкин.

Ф. С. Лутковский умер в 1852 году контр-адмиралом свиты его величества.

Император и Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая».

Летом 1826 года верховный уголовный суд «совершил вверенное ему дело». В тринадцатый день июля пятерых повесили. День выдался светлый, играл военный оркестр. Приговоренные не дрогнули. Царь сообщил маменьке, «порфироносной вдове»: «Гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства».

В тот же день флот простился с моряками-декабристами. Гражданская казнь была исполнена на адмиральском фрегате. Ритуал ее во всех деталях не потяготился и не постеснялся составить «рыцарственный» государь.

Ударила пушка. Не обычная, не заревая — зловещая, как сигнал с тонущего судна. На крюйс-стеньге флагманского корабля поднялось черное полотнище. К Большому кронштадтскому рейду приблизился пароход «Проворный». Он привел на борту баржу с осужденными. Осужденные поднялись на фрегат. Их было пятнадцать. Среди них и те, кого Головнин, несмотря на разницу в возрасте, считал товарищами: капитан-лейтенант Николай Бестужев и лейтенант Дмитрий Завалишин. Фон Моллер, брат министра, приготовился читать приговор: каторга, каторга, каторга. И тут в ритуале, составленном государем, произошла заминка: экипаж фрегата бросился обнимать «злодеев». Едва навели порядок, Моллер торопливо прочел приговор. Матросы утирали кулаком слезы. Над осужденными переломили шпаги. Они сняли мундиры, надели старые солдатские шинельки. Пароход «Проворный» увел в Питер баржу с каторжанами.

Пушкин говорил: повешенные повешены, но каторга друзей ужасна. Он выразил чувства многих; однако никто из-за этого ужаса не кончал самоубийством. Декабристы без декабря продолжали служить, обедать, спать с женами. И все ж не жили так, как жили прежде.

Вяземский говорил: мы были лучами одного светлого круга. Светлый, чистый диск потух, исчез. Но кромешная тьма не пала. Натекли сумерки, жуткие, как в остроге. В сумерках маячила петропавловская виселица. Ее косые тени беззвучно гнались за уцелевшими.

После 14 декабря Головнин не брался за перо. Сатирические чернила в его чернильнице пересохли. Он умолк и молча продолжал служить.

Служил почти исступленно. Повседневным глушат мятежи сердца. Обыденным заменяют высокие порывы, как привычной — счастье. «Теорию малых дел» исповедуют всякий раз,

когда рушатся неличные надежды, когда на площади торжествует палач, а в душе — мораль: «плетью обуха не перешишь», «сила солому ломит», «своя рубаха ближе к телу» и проч.

Головнин молчал. Но дома, в четырех стенах, среди своих не выдерживал... В рукописных мемуарах его сына есть знаменательные строки, посвященные матери: «Вообще она сохранила к государю большую признательность и находила несправедливыми упреки, которыми его осыпали и во время его жизни и особенно после смерти». (Евдокия Степановна, овдовев, осталась с пятью детьми и долгами в шестьдесят тысяч ассигнациями; Николай назначил ей пенсию.) Но важнее иное: упреки в адрес Николая при жизни Николая! Кто бы на них осмелился в присутствии Головниной, как не сам Головнин? Кто посмел бы «осыпать упреками» самодержца, учредителя регулярного политического сыска, как не муж с глазу на глаз с женою? Однако мемуарист, думается, поделикатничал. Какие, к черту, «упреки»? Упрекают ветреную любовницу; вешателей проклинают.

Итак, он продолжал служить.

Некий деятель однажды иронически «сплакивал так называемую морскую науку». Николай Первый был последовательнее: презрительной слезою кропил он любую науку. Сын своего отца и брат своих братьев, он отвергал все дисциплины, кроме строевой. «Мне не нужны умные, мне нужны послушные».

Дивизионный генерал стал императором. Но император не перестал быть дивизионным генералом. «Дивизией» оказалась вся Россия. В России следовало установить порядок, как в казармах Второй гвардейской.

Но тут вот что надо иметь в виду. Поразительное невежество Николая, его жестокость и злопамятность известны. Однако крылась в нем и природная способность дипломатничать, пользоваться обстоятельствами. Качества эти с годами улетучились: Николая опоили лестью его приближенные, которые боялись говорить правду и не боялись лгать, но лгать так, чтобы непременно поддакнуть царским намерениям. Все это, конечно, не спасает Николая от «высшего судии» — Истории.

Коронуясь в Москве под громкий и звучный колокольный звон и уже стихающий в отдалении окаянный звон кандалов, новый самодержец еще обладал некоторым умением разбираться в людях, а равно умением обворожить их. (Черты, нередко свойственные «начинающим» деспотам. Утвердившись, они

окружают себя посредственностью: на блеклом фоне и медяшка блестит золотом.)

Так вот, принимая в «команду» Россию, взявшись за гуж, император Николай обратил взоры и на Морское ведомство. Был учрежден Комитет образования флота. Членами комитета Николай назначил таких блистательных капитан-командоров, как Крузенштерн, Ратманов, Беллинсгаузен, таких свидущих адмиралов, как Пустошкин, Грейг, Рожнов. Кончилась долгая горчайшая опала прославленного флотоводца Дмитрия Николаевича Сенявина.

В Морском ведомстве пошли административные преобразования. Некоторые из них Головнин одобрял, в других сомневался. Но теперь-то ему уж было к кому обращаться, с кем разговаривать: в комигете — настоящие моряки, настоящие ревнители морских сил.

Однако и при таких товарищах Головнину приходилось солено. Непреклонную честность, прямоту и решительность суждений, суровую преданность долгу венчают лаврами христоматийные жизнеописания. А в самой быстротекущей жизни обладатель таковых достоинств обрастает недоброжелателями, как корабль ракушками, замедляющими ход. И так же, как корабль, стерегут его коварные рифы и предательские мели. Василию Михайловичу не долго пришлось дожидаться встречи с ними.

Головнина-мореплавателя нельзя было не уважать. Головнина-писателя нельзя было не признавать. А Головнина-чиновника нельзя было не опасаться. Он не давал «брать», не давал греть руки. Такой генерал-интендант доставлял слишком много хлопот, слишком много неудобств. Отделаться от него махом случая не представлялось. Зато подворачивались случаи язвить, ранить душу.

Должно быть, не без «подходов» фон Моллера, конечно, знатного, как Головнин расценивает его «духовный сближ», Василий Михайлович не был назначен членом Комитета образования флота.

То было утеснение моральное. Оно как бы продолжало утеснение материальное. Дело-то в том, что «Путешествие на шлюпе «Камчатка» давно отпечатали и распродали. Головнину полагались законные триста экземпляров. Но автору показали кукиш. Автор лишился семи с половиной тысяч. Сумма кругленькая. Особенно для того, кто существовал с чадами и домочадцами на жалованье, ничего не урывая от казенного пирога.

Правда, Головнин удостоился ордена Владимира 2-й степени. Но Василий Михайлович был русским человеком, а Лесковтонко заметил, «что эти самые русские люди, которые так любят получать медали, звания и всякие превышающие отличия, сами же не обнаруживают к этим отличиям уважения и даже очень любят издеваться». Да к тому же никаким орденом не заткнешь дыры в бюджете. А семейный бюджет хромал. Головнин далеко был от Гулынок, да и Гулынки далеко не были рогом изобилия.

Куда больше «высокомонарших» наград заботила Василия Михайловича предстоящая в конце 1826 года баллотировка. Процедура, возникшая в Венеции при выборе дожей, держалась двести лет (с перерывами) в русском флоте при выборе должностных лиц. Результаты офицерского голосования обычно утверждались высшим командованием.

У Головнина были веские основания опасаться поражения. Если на морях его пощадили черные ядра, то в Адмиралтействе его не пощадили бы черные шары. Он знал недругов открытых, догадывался о скрытых. Провал на баллотировке лишил бы его контр-адмиральского чина. Но и не это главное. Провал лишил бы его возможности продолжать службу: честь потребовала бы отставки.

Скрепя сердце Василий Михайлович написал рапорт. Обратился к Моллеру, заправлявшему флотом. К тому самому, которого презирал всеми силами души.

Головнин напрямик заявил Моллеру: «А судьи кто?» Если б эти люди «мнение свое излагали гласно», то «во избежание стыда», глядишь, и сказали бы истину, однако «при баллотировке невидимая рука врагов, не боясь поношения, может втайне вредить невинному и навсегда пребыть в неизвестности». А потому Головнин предлагал без баллотировки «переименовать» его (как это практиковалось) в генерал-майоры, «буде вышнее начальство признает меня для морской службы неспособным».

И «вышнее» начальство не постыдилось признать негожим для корабельной палубы того, кто совершил 31 компанию, дрался на Балтике и в Средиземном море, огибал под парусами земной шар. Василия Михайловича Головнина «переименовали» в генерал-майоры. Истым морякам понятна вся оскорбительность подобных «переименований»... Только на краю могилы Василий Михайлович вновь получил морской чин — вице-адмирала — в декабре 1830 года.

А Комитет образования флота между тем заканчивал «образование» морского ведомства. Не стану рассматривать пере-

мены и перетасовки должностной колоды; тузы в ней остались тузами, двойки и тройки — самими собою. Перечислю то, что отдавалось в ведение генерал-интенданта Головнина: постройка и ремонт кораблей, заготовление припасов, снабжение всеми видами довольствия личного состава, управление корпусом морской артиллерии, инспекторский надзор за корабельными инженерами, арестантскими ротами, рабочими и ластовыми экипажами<sup>1</sup>.

Огромное, сложное, запутанное и запущенное хозяйство взвалили на Головнина. Будь, мол, Василий Михайлович, и семи пядей во лбу и двужильным. Он писал: «...Не имею ни днем, ни ночью покоя, ни в праздники отдохновения; дела мои такого рода, что и в болезни должен ими заниматься; при всем том нахожусь в ежечасной опасности, чтобы не подпасть под взыскание или к ответу не за себя, а за других».

Так минули годы.

Далеко разбросало прежних соплавателей. Иные уже встали на мертвые якоря. Но многие еще были в упряжке.

Вот Петр Иванович Рикорд, одногодок, не бросает палубы. Командует эскадрой в Средиземном море, эгейские зори золотят паруса его кораблей, аттическая соль если и не в приказах по эскадре, то на губах. Завидное дело досталось и Петру Ивановичу и его подчиненным, в числе коих Федор Матюшин: помочь повстанцам-грекам в праведной битве за независимость от турецкого султана. «Борись за свободу, где можешь», — писал покойный Джордж Байрон. Полного тебе ветра, Петр Иванович, любезный сердцу старый товарищ. А вернешься, зададим мы с тобою молодецкую пирушку. И добром помянем, кого следует добром поминать.

Давно оперились ученики. Глядишь, и учителя обгонят. Литке Федор уже капитан первого ранга, недавно вернулся из кругосветного похода, открытия сделал в Тихом океане, по-трудился славно. А Брангель на Ситхе: правитель Русской Америки. Надеется «поднять» колонии. Дай-то бог, дай-то бог. Но верится с трудом. Отчего уж и с трудом верится? Может быть, стареешь, Василий Михайлович? Минуло пятьдесят пять, ты скоро обратишься в одного из тех замшелых пней, которых сам же всегда ругательски ругал. Старость подкрадывается, как туман в ночи. Не уследишь, не приметишь — пожалуйте, господин адмирал, на погост...

Э, полно, ваше превосходительство. Полноте! Здоров ты, совершенно здоров. Ну, колено побаливает, давным-давно, при

<sup>1</sup> Ластовые экипажи обслуживали мелкие портовые суда.

побеге из японской тюрьмы, ушиб колено, вот и побаливает. Да ревматизм грызет к непогоде, обычная морская хворь. Чепуха! И плевать тебе на старость... Что старость — на старуху с косой и то плевать! Да, да, улизнул от тлена и праха, пусть и могила исчезнет, но вечно пребудет карта мира: среди Курильских островов гуляют волны пролива Головнина; Берингово море гложет скалистую бухту Головнина, что на полуострове Сьюард в Северной Америке; на Новой Земле тучи, набухшие снегом, мрачно влекутся поверх горы Головнина, Ледовитый океан грубо оглаживает мыс Головнина...<sup>1</sup>

В исходе мая 1831 года семейство вице-адмирала оставило зимнюю квартиру. Уже несколько сезонов Василий Михайлович нанимал двухэтажную дачу Глена по Петергофской дороге.

Лето пало знайное, безветренное. Душно было и мглисто. Финский залив спал летаргическим сном. Небо приняло зловещий оттенок. Во всем чудилось что-то грозно-неотвратимое.

Лето тридцать первого года означилось черным, долго памятным событием: холерной эпидемией, поразившей несколько губерний. В середине июня «Санктпетербургские ведомости» сообщили о вспышке страшной болезни в столице. Моровое по-ветрие понеслось быстро, как верховой пожар в сухом бору.

Загрохотали валкие больничные фуры. Полиция хватала и тащила каждого, кого подозревала «холерным». Госпитальные палаты ломились. Мертвцевов не поспевали оттаскивать в сараи, заменявшие морги. Случалось, тащили и полуживых.

Медики с ног сбивались. Они пользовали народ какими-то мушками и микстурой меркурия. Народ не верил ни лекарям, ни снадобьям. Обезумевшие люди громили больницы и калечили докторов.

Шелестел слух, что заразу напустили поляки (до студентов и евреев очередь еще не дошла). Потом всплеснула молва, что пагубу напустили «злодеи 14 декабря». Видели их, мол, на заставах: бородатые, жуткие, пряником из Сибири «выбежали»... Но чаще и упорнее толковали, что холера — дело властей. Тут уж, как замечал очевидец, проглядывала вера во всемогущество «начальства»: «даже и наказание божие починается наказанием власти».

В конце июня холера косила машисто. Денно и нощно стучали молотки гробовщиков. Тянулись обозы с мертвцевами. Мертвцевов кое-как прикрывали рогожами. Умерших хоро-

<sup>1</sup> В наше время, после Великой Отечественной войны, на острове Кунашир, где некогда пленили капитана «Дианы», возник рыбачий поселок Головнино. Там же, на Кунашире, высится вулкан Головнина, двуконусный, с двумя озерами: одно очень спокойное, другое, меньшее, постоянно кипит.

нили на новом, «опальном, отчужденном» Митрофаньевском кладбище. Хоронили без духовенства, ночью, при факелах.

Евдокия Степановна не могла (а может, и не смела) удержать Василия Михайловича на даче. Каждый день, после завтрака, вице-адмирал садился в казенный экипаж, запряженный четверкой, и отправлялся в Петербург. Он ездил в Адмиралтейство, ездил на верфи, на Охту, где жили плотники и столяры, кузнецы, конопатчики, мачт-макеры, как по старинке величали умельцев, изготавливавших корабельные мачты.

И 29 июня в утренний час Головнин, как обычно, отправился на службу. А в пятом часу пополудни, раньше обычного, знакомая жене и детям высокая зеленая карета привезла его на дачу.

Лакей в военной ливрее, форейтор и подполковник Нил Степанович Лутковский, гостивший у сестры, перенесли вице-адмирала в дом.

Головнин умирал, пораженный холерой.

Молодым волонтером он едва не погиб в океане. Моряки, поддерживая друг друга за плечи, пели наперекор буре, медленно и торжественно пели: «И перед взором твоим тысяча лет проходит как один вечер».

Как один вечер...

## **Основные даты жизни В. М. Головнина**

- 1776, 8 апреля** — В деревне Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии родился Василий Михайлович Головнин.
- 1788** — Поступает в Морской кадетский корпус.
- 1790, лето** — Участвует в сражениях русского флота со шведским.
- 1793** — Выпущен из Морского корпуса и произведен в мичманы.
- 1792—1795** — Служит на Балтийском флоте.
- 1795—1799** — На Балтийской эскадре совершает переход к берегам Англии, участвует в блокаде Голландии.
- 1799** — Произведен в лейтенанты.
- 1802—1806** — Служит волонтером на английском флоте.
- 1807** — Отправляется в дальнее плавание на шлюпе «Диана».
- 1810** — Произведен в капитан-лейтенанты.
- 1811—1813** — Находится в японском плену.
- 1814** — Возвращается в Петербург. Произведен в капитаны второго ранга.
- 1814—1816** — Работает над «Записками» о пребывании в японском плену, публикуя их в журналах.
- 1817** — Отправляется в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка».
- 1818, март** — Избирается почетным членом Вольного общества любителей российской словесности.
- май** — Избирается членом-корреспондентом Академии наук.
- 1819** — Завершает кругосветный поход на шлюпе «Камчатка». Произведен в капитаны первого ранга. Издает «Путешествие на шлюпе «Диана» и «Сокращенные записки о плавании для описи Курильских островов». Пишет «Записку о состоянии Алеут в селениях Российско-Американской компании и о промышленных ее».
- 1821** — Произведен в капитан-командоры, назначен помощником директора Морского кадетского корпуса. Переводит сочинение А. Дункана «Описание достопримечательных кораблекрушений», прибавляя к ним «Описа-

ние достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями».

**1823** — Назначается генерал-интендантом флота.

**1824** — Сближается с Тайным обществом декабристов, пишет памфлет «О нынешнем состоянии российского флота».

**1826** — Произведен в генерал-майоры.

**1827** — В преобразованном морском ведомстве возглавляет управление генерал-интенданта флота.

**1830, декабрь** — Произведен в вице-адмиралы.

**1831, 29 июня** — Смерть Василия Михайловича Головнина от холеры.

## **Краткая библиография**

Головнин, Записки флота капитана Головнина о приключениях его в пленау у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. С приобщением замечаний его о Японском государстве и народе. Ч. 1—3, Спб., 1816.

Головнин В. М., Инструкция служащим на шлюпе «Камчатка», составленная командиром оногого флота капитаном Головнином. Спб., 1817.

Головнин, Путешествие российского императорского шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота капитана (ныне капитана I ранга) Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг. Ч. 1—2, Спб., 1819.

Головнин, Сокращенные записки флота капитан-лейтенанта (ныне капитана первого ранга) Головнина о его плавании на шлюпе «Диана» для описи Курильских островов в 1811 году. Спб., 1819.

Головнин В. М., Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных российскими мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и пополнены примечаниями и пояснениями кап. Головнином. Спб., 1822.

Головнин, Путешествие вокруг света по повелению государя императора, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах. Ч. 1—2, Спб., 1822.

Головнин В. М., Записка капитана второго ранга Головнина о состоянии Алеут в селениях Российско-Американской компании и о промышленных ее. В кн.: Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. Вып. 1, Спб., 1861.

Головнин В. М., Замечания о Камчатке и Русской Америке в 1809, 1810 и 1811 гг. В кн.: Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. Вып. 2, Спб., 1861.

Головнин В. М. (мичман Мореходов), О состоянии Российского флота в 1824 году. С рукописи, найденной в неполном виде в бумагах вице-адмирала В. М. Головнина. Спб., 1861.

Головнин В. М., Сочинения и переводы Василия Михайловича Головнина. Т. 1—5, Спб., 1864.

Головнин В. М., Записки в плену у японцев. Сокращ. изд., Спб., 1864.

Головнин В. М., Записки флота капитана Головнина. Ч. 1—3, Спб., 1894.

Головнин Василий, Сочинения. М., 1949.

Головнин В. М., Путешествие на шлюпе «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807—1811 годах. М., 1961.

Головнин В. М., Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Головниным. М., 1965.

Греч Н., Жизнеописание Василия Михайловича Головнина. Спб., 1851. То же. Журн. «Морской сборник», 1851, № 7.

Берг Л., Великие русские путешественники. М.—Л., 1950.

Давыдов Ю., Василий Михайлович Головнин. В кн.: Василий Головнин, Сочинения. М., 1949.

Давыдов Ю., Штормовая судьбина. В кн.: Под небом всех широт. М., 1961.

Дивин В., В. М. Головнин. М., 1951.

Дивин В., Василий Михайлович Головнин. В кн.: Русские мореплаватели. М., 1953.

Дружинин Н. М., Приключения капитана Головнина. Л., 1929.

Дружинин Н. М., Русские мореплаватели в старой Японии. Л., 1924.

Ефремов Ю. К., Василий Михайлович Головнин. В кн.: Отечественные физико-географы и путешественники. М., 1959.

Магидович И. П., Известные русские мореплаватели. В кн.: Русские мореплаватели. М., 1963.

Мельницкий В., Адмирал Петр Иванович Рикорд и его современники. Журн. «Морской сборник», 1856, № 2, 12.

Нозиков Н., Русские кругосветные мореплаватели. М.—Л., 1941.

Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. Т. I, Спб., М., 1866.

Фраерман Р. и Зайкин П., Плавания В. М. Головнина. М., 1948.

**Давыдов Юрий Владимирович.**

**ГОЛОВНИН.** М., «Молодая гвардия», 1968.

208 с с илл. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 8(451).)

91(09)

Редактор **С. Резник**

Серийная обл. **Ю. Арнданта**

Рис. на обложке и заставки **Л. Корсанова**

Художественный редактор **А. Степанова**

Технический редактор **Е. Брауде**

Сдано в набор 28/III 1968 г. Подписано к печати 2/VII 1968 г. А04215. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Печ. л. 6,5 (усл. 10,92) + 7 вкл. Уч.-изд. л. 13. Тираж 65 000 экз. Цена 57 коп. Т. п. 1968 г., № 431. Заказ 528.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.